This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Gift of

Elena Varneck

STANFORD
UNIVERSITY
LIBRARIES

БИБЛІОТЕКА ГЕРГАРДА.
ТОМЪ I.

Петръ А. Полянскій.

Карпатскіи Новелли.

Томъ I.

Karpathische Novellen. Von Peter Polanski.

ЛЕЙПЦИГЪ, Вольфгангъ Гергардъ. | LEIPZIG, Wolfgang Gerhard.
1888.

Разомъ продается и томъ Пій, обнимающій новелли: „Неизгладимый“; „Лѣсный Кобольдъ“ и „Мармарошскій сватъ“.

ВОЛЬФГАНГЪ ГЕРГАРДЪ книгопродавецъ, издатель и коммиссіонеръ для иностранцевъ, предлагаетъ свои услуги Г. г. авторамъ для напечатанія ихъ произведеній на русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ.

РУССКАЯ БИБЛІОТЕКА.

Томъ XI. СТИХИ СП..... АГО и П. П. М. 1.50.
Томъ XII. ОНА ТОЛЬКО ДУША! Вильгельма Вольфзона. М. 3.00
Томъ XIII. РИМЪ И С-ПЕТЕРБУРГЪ. М. 0.75.
Томъ XIV. КТО ПРАВЪ? М. 1.50.
Томъ XVI. ДУХОВНАЯ Василія Никитича Татищева. М. 0.75.
Томъ XIX. БІОГРАФІЯ АРСЕНІЯ МАЦѢЕВИЧА, Архіепископа Ростовскаго и Ярославскаго, кн. Ав. Голицына. М. 0.75.
Томъ XXI. О СОСТОЯНІИ РУССКОИ АРМІИ ВЪ СЕМИЛѢТНЮЮ ВОЙНУ. — О ЗЛОИ САЛТЫЧИХѢ М. 0.75.
Томъ XXII. ДОКЛАДЪ о управленіи государствомъ, поданный Екатеринѣ II вскорѣ по восшествіи ея на престолъ. — ЗАПИСКА князя Михаила Никитича Волконскаго о необходимыхъ улучшеніяхъ (1775). М. 0.75.
Томъ XXIII. ИСТОРІЯ О ОЦѢХЪ И СТРАДАЛЬЦѢХЪ СОЛОВЕЦКИХЪ: Иже за благочестіе и святыя церковныя законы и преданія, въ настоящая времена, велико душно пострадаша. М. 1.50.
Томъ XXIV. ДЫМЪ. Соч. Ив. Тургенева. Второе изданіе. М. 5.00.
Томъ XXV. НЕСЧАСТНАЯ. Соч. Ив. Тургенева. М. 2.00
Томъ XXVI. ОТЦЫ и ДѢТИ. Соч. Ив. Тургенева. М. 5.00
Томъ XXVII—XXIX. ПАНУРГОВО СТАДО. Соч. В. В. Ростовскаго. М. 15.00.
Томъ XXX. ПЕМБЕ. Разсказъ изъ эпиро-албанской жизни Соч. К. Н. Леонтьева. М. 1.50.
Томъ XXXI. ВЕШНІЯ ВОДЫ. Соч. Ив. Тургенева. М. 3.50
Томъ XXXII. СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИРЪ. Соч. Ив. Тургенева. М. 1.80.
Томъ XXXIV, XXXV. ЗАПИСКИ ОХОТНИКА. Соч. Ив. Тургенева. М. 10.00.
Томъ XXXVI. ЧАСЫ. Соч. Ив. Тургенева. М. 1.20.
Томъ XXXVII, XXXVIII. НОВЬ. Соч. Ив. Тургенева. М. 8.50
Томъ XXXIX. РАЗСКАЗЪ ОТЦА АЛЕКСѢЯ. Соч. Ив. Тургенева. М. 0.50.
Томъ XXXX. ОТРЫВКИ изъ воспоминаній своихъ и чужихъ И. С. Тургенева. М. 0.80.

Polianskii, P.A

ПЕТРЪ А. ПОЛЯНСКІЙ.

Карпатскіи Новелли.

Томъ I.

ЛЕЙПЦИГЪ,
Вольфгангъ Гергардъ.

LEIPZIG,
Wolfgang Gerhard.

1888.

TK

PG3470
P455K3
v.1

Исправленіе ошибокъ.

Вмѣсто:	Стр.	Читай:
розложилось	95	розложилась
душы	102	думы.

Содержаніе.

Стр.

Карпатскій гончарь. (Тая новелля вынята изъ Буковинского Альманаха изданного обществомъ „Союзъ“ 1885 г., где она въ первый разъ была печатана.) 1

Гробовый духъ 101

Партизантъ 142

Предисловіе.

Передаючи читателямъ новелли изъ жизни народа въ Карпатахъ, я яко уроженецъ тыхъ-же Карпатъ, не могу не зазначити на тôмъ мѣстци одного всегда такъ пожелаемого явленія, состоящого въ тôмъ, що народъ той въ противоположности до зникающой вообще у иныхъ народовъ національной типовости, задержалъ до теперь прелесть своей незатронутой еще типовой отдѣльности; уважаючи же дальше головнѣйшою основою новеллистики, сюжетъ поднятый изъ народа въ котромнибудь изъ его слоевъ, я томужь моему отечественному карпатскому народу посвящаю послѣдующіи въ обохъ томахъ новелли и новелетты.

Львовъ, 15. Окт. 1887.

Авторъ.

Карпатскій гончарь.

Новелля на тлѣ событій 1846 року.

I.

Горячій и одушевляющій тоастъ на процвитаніе стремленій польскихъ инсургентôвъ пôднесла красива и плѣняюща дама Емилія Краевска.

Она держала одѣдиченный по предкахъ золотый покалъ съ шумящимъ шампаномъ и говорила пристрастно и фанатично, а еи слова были для розмаяченныхъ душъ бенкетующой шляхты и еи молодой генераціи сильно дѣлающою наркозою, котрôй и найповôльнѣйшій консерватистъ супротивитись не былъ-бы въ силѣ. Еи лице горѣло огнемъ, еи хороша талія, еи бѣла рука тримающа съ дрожащимъ запаломъ покалъ и еи солодко-приказующіи слова были достаточною порукою, що зôбрана шляхта приступитъ тоже до инсургентôвъ. —

Она говорила, якъ модная Спартанка, высылаючи героевъ на кроваву борьбу, котра мала принести спасеніе для пропавшой ôтчины. — И предкôвъ она не залишила, а вспôмнула и Хороброго и Смѣлого, пожалилась на слабôсть духа, подала програму и проклинаючи вôрогôвъ скôнчила тоастъ принятый черезъ гостей крикомъ, якій можна почути лишь у шаленой толпы, котра проклямуетъ свого возлюбленного заступника.

Шляхта кричала до сыта на добро и ôтновленіе ôтчины, а вино кружило по давному обычаю и роспаляло вже и такъ розжаренну кровь бенкетующихъ. Одна мысль занимала и старыхъ и молодыхъ; а молодыи? Золотая и солодкая молодежь, то не Леонидасы, що научились смерти въ очи заглядати и въ крови якъ въ водѣ купатись, а были то перфумованныи вычесанныи гоги, що спали въ день, а въ ночи забавлялись, що плели небылицѣ и рѣзали воинственныи родомонтады, а въ духу опущали уха якъ заяцѣ, а котрыи теперь въ часѣ народового руху представлялись въ словахъ фанатичными Магомеданами и приступили громадно пôдъ прапоръ реставраціи ôтчины. —

Емилія побѣдила, а того она и хотѣла. Она знала, що коли она говоритъ, никто не можетъ

не обожати ей, а то произвести, было для ней найвысшимъ желаніемъ.

Емилію обожали всѣ, а теперь наветъ и сивый графъ Насальевичь, повага найбôльша въ цѣлôй доменѣ Домашовы, высказалъ мнѣніе, що надѣесь сильно на возстановленіе ôтчины, коли жіютъ еще такіи дамы якъ Емилія. Другіи дôбранныи гостѣ забѣгались такожь коло ней и говорили ей по свому способу любезности и комплименты. Всѣ же ей обожатели были такъ ошоломлены ей красою, що не зважали наветъ на програму рецитованну черезъ повставшого Ромуальда Краевского. —

Но въ коротцѣ появились и послѣдствія шампана. Стара контушова шляхта, котра еще не совсемъ стратила собѣ свôйственный типъ, уснула и хропѣла на фотеляхъ, укладаючи въ солодкôмъ снѣ планы на будущу воздушну палату, — а золотая молодежь перейшла въ своимъ розговорѣ на тему о парижскихъ гризеткахъ, о крою нового фрака, маюшого появитись съ осеннимъ сезономъ и о не маловажнôмъ вопросѣ, въ котрôмъ росходилось о властивôсть и свойства новой наркотичной есенціи перенесенной до Парижа пзъ Константинополя. —

Молодый баронъ Ларизанъ, котрый былъ

усчастливленъ найбôльшою приклонностею Емиліи, подалъ ей рамя и повелъ по ей желанію на веранду, щобы очутитись на свѣжôмъ воздусѣ карпатскôмъ. —

Баронъ Ларизанъ былъ полный парижскій паркетникъ: съ гоговствомъ мѣшалась контрастично горяча въ словахъ и будьто сердечна неувадающа приклоннôсть до масы запôзнанного до теперь польскою аристократіею народа, перенята ôтъ голошенныхъ засадъ новой партіи польской, котра въ своихъ манифестахъ отверто заявила, що спасти можетъ ôтчину лишь двома силами: народомъ и связею съ революційными елементами Европы. И Ларизанъ станулъ пôдъ тую девизу и вразъ съ прочою молодою генераціею Польщи будучи за границею, переходилъ курса войсковыи то въ Мецъ то въ Парижи пôдъ Высоцкимъ и Мѣрославскимъ.

И Емилію зналъ ôнъ еще зъ парижского свѣта, где польска аристократія, зложена то зъ емигрантôвъ то зъ конспирующихъ, то изъ здесперованныхъ мученикôвъ, готовила горячково дѣло чинного ôтпору.

Хороша Емилія уходила въ кружкахъ парижского свѣта за одну изъ тыхъ загонистыхъ ексцентричныхъ дамъ, що не находячи власти-

вого удовлетворенія для своей нервовой души кидаются спасматично въ объятія крайнѣйшихъ родôвъ внѣшного удовольствія. Остало ще немного и зъ материнского типу польскихъ женьщинъ, а то: загорѣлôсть и героичнôсть. — Однакъ вѣжливôсть, жѣноча нѣжнôстъ, увлекающе женьске безсиліе и тиха любовь къ жѣночимъ дѣламъ, характеризующіи старопольскихъ женьщинъ, зникла совсемъ, а на ей мѣстце наступило все, що становитъ модну даму: спазмы и омлѣнія, долге спанье и всѣ степени кокетеріи, гримасы и нерасположеніе пересыченнымъ житьемъ.

Въ памятнôмъ роцѣ, коли шляхта другій разъ по появленію Наполеона первого, пробовала своихъ силъ до возстановленія отчины, явилась изъ за границы и Емилія и братъ ей Ромуальдъ Краевскій въ Домашовѣ, своимъ одѣдиченнôмъ по предкахъ селѣ, и яко загорѣла патріотка была вразъ съ братомъ головнымъ моторомъ народового руху въ своей доменѣ.

Слабый органисмъ національный вже доживалъ поволи свого кôнця, даючи ôтъ часу до часу знати о слабôмъ своимъ житью. — Заходы конспирующихъ въ краю почали лучитись съ подвигами »общества демократичного«, но дôзнавали часто не доброго кôнца. Однакъ ни вяз-

ницѣ Спильбергу и Куфштайну и смерть Конарского, ни вывôзъ на Сибиръ, ни дальше шибеничный засудъ Стегонного не спинили безпрестанно кнованныхъ планôвъ, котрыи обняли всѣ предѣлы польскіи. Манифесты розпространялись межи всѣми верствами народа, емиссаріи перебѣгали край, а емигранты готовились до воинного дѣла. — Плянъ Мѣрославского и мисія Весоловского въ Галичинѣ получили галицку шляхту въ одно тѣло. — Она ôтбувала по дворахъ тайныи нарады, тріюмфовала, пила и кричала якъ стадо кавокъ, а мандаторы, економы и посѣпаки двôрскіи крутилися де можна по селахъ и мѣстахъ и вербовали до народовой арміи то грôшми, то виномъ, то обѣцянками, а декуды и силою. —

И двôръ въ Домашовѣ былъ ôтъ якогось часу оживленный якъ николи; а магнесъ, котрымъ была Емилія, тягнулъ до Домашова пôдъ прапоръ Краевского молодыхъ охотникôвъ, що незадолго мали вымаховати и затинати карабелями, молодыхъ спюшкôвъ, що выпещенныи ня мягкихъ подушкахъ, хватали за оружіе и ставати мали до кровавой борьбы. —

За Емиліею вернулъ изъ за границы и баронъ Ларизанъ и радъ не радъ перемѣнитись мусѣлъ въ Гектора, щобы не повстыдатись передъ

новою Андромахою, котра изъ женщины слабодушной и спазматичной стала наразъ воинственною и жаждною славы инсургенткою. Они прійшли на веранду.

Вечеръ давно вже проминулъ и таинственна темнота покрывала и такъ вже темныи, чорнѣющіи са лѣсы и горы Карпатъ. Въ природѣ было тихо и лишь ôтъ часу до часу прошивался въ воздусѣ лиликъ, або пугачъ, а зъ далека залѣталъ дрожащій голосъ трембиты и заумиралъ въ лѣсовыхъ вертепахъ и скалахъ. Мѣстцями блестѣли по горахъ огнѣ при кошарахъ и шаласахъ, якъ тайныи поломѣни, що миготятъ надъ укрытыми скарбами. Легкій вечерній вѣтеръ повѣвалъ помежи буйный повой на верандѣ и холодилъ розгорѣлыи лиця барона и Емиліи, котра педбало кинулась на софу въ верандѣ: межи буйными листьми и цвѣтами повою пламенѣла она якъ пестрый мотылъ на букетѣ полной левконіи.

»Дивно« сказалъ въ кôнци баронъ »дивно, красна Емиліо: хоть небо мы змѣнили, изъ бульвару кинулись на той карпатскій дико-унимающій пейсажъ, но въ мнѣ чувство не измѣнилосъ: всегда жаритъ моя любовь до тебе, но ты —«

Голосный, съ ироніею помѣшанный и на полъ дикій смѣхъ дался почути изъ устъ красной Емиліи на тіи слова. Мѣсяцъ на небѣ показался якъ свѣжое лице прелестной чарующой нимфы и зôткнулся съ горячимъ блескомъ очей Емиліи, котра ще съ ироничнымъ усмѣхомъ смотрѣла на барона, пôдперши рукою кокетно пламенѣющу тварь. —

»Що вамъ не приходитъ на думку!« сказала она »чи вы ще того не видите, що послѣдній вашъ вопросъ дѣлаетъ васъ смѣшнымъ? Вы бьете передъ мною поклôнъ, бо то мнѣ принадлежитъ... бо вы мусите то дѣлати... понимаете то слово: мусите? Вы мусите и — бôльше ничь!« И сновь засмѣялась она по адски.

Тутъ дался чути топôтъ кôнскихъ копытъ, и при срѣбрнôмъ свѣтлѣ мѣсяця видно было малое число ѣздцевъ на коняхъ, котрыи зближались узкою прогонною дорогою до двора. Емилія встала и опершись о поруча веранды споглядала на долину и прислуховалась, якъ конспированный прислухуесь, коли почуетъ сближающихся чужихъ.

»То наши!« сказала она по хвили ôтвернувшись и надумуючись »они приводятъ певно новыи силы съ собою... Съ ними ѣдемъ завтра

до двора въ Ветлинѣ до Новаковского. Ларизанъ, вы будете завтра моимъ товаришемъ въ дорозѣ до Ветлина чуете, вы мусите,« и она взявши его за руку потрясла нимъ якъ дитятемъ нимъ, котрый стоялъ передъ Емиліею, якъ передъ чародѣйкою, повинуючись ей воли. Ей вже не было на верандѣ. Баронъ стоялъ ще хвилю и смотрѣлъ въ сторону сали, потôмъ махнулъ рукою, зробилъ крокъ польки, засвисталъ куплетную арію и повернулъ до сали, где золотая молодежь по скôнченнôй росправѣ о наркотичнôмъ напою, послѣдовала примѣру своихъ дрѣмающихъ отцевъ, держачи крѣпко пястукомъ упяту при боцѣ карабелю, щобы на слѣпо быти готовымъ, чорному ворогови на мѣстци проколоти шію якъ крокодилеви. —

Емилія пôйшла въ свôй будоаръ, на пôлъ змучена горячью въ салѣ бенкету, на пôлъ пріятно роздражненна конверзаціею и шампаномъ, опустилась хороша дама на мягкій фотель, не забувши впередъ запалити по модному стилю здѣланный перфумоаръ, котрый ошоломяющимъ аромомъ наполнилъ комнату. — Черезъ жалюзіи оконъ продирался легкій пріятный огородовый воздухъ, а холодна тѣнь и дрожащіи лучи мѣсяця усовершали сіесту, котра подобала бôль-

ше на незадоволену безчиннôсть, чимъ на ôтпочинокъ.

»Марино!« свернулась въ кôнци Емилія до сельской дѣвчины, своей покоевой, котра стояла при входѣ и ждала на слова своей панѣ »Марино, розчеши мою фризуру и оповѣдай що нибудь, якъ звыкло, щобысь мене успила«.

»Разъ была« начала молода дѣвчина розсказовати »разъ была принцеса, хороша якъ княжна Громовика, чобôтки шнурованныи, сукня мережана, поясъ кованный съ жолтыми ретязями, ей золотый перстень безъ огню горѣлъ, а павяный вѣнокъ безъ вѣтру шумѣлъ; така красна была тая принцеса, якъ бѣла дѣвчина, водяна русалка, що гаситъ палающу дуброву водою зъ решета. А богата была якъ пôдземный князь, що мешкаетъ въ золотыхъ комнатахъ, а вже така была люба и добра, що кто не увидѣлъ ей изъ молодыхъ князей, то заразъ въ ней на вѣки влюблялся... А то лишь одного не было въ ней, и она была така несчастлива черезъ то, все сумовала, нудила и не могла нигде знайти собѣ супокою.«

»А тымъ несчастьемъ що было?« поспытала поспѣшно Емилія, примруживши очи и перебираючи пальцями по мягкôмъ фотелю.

»О ню старались многіи принцы« толковала Марина »но она не могла знайти въ своимъ сердци ани крыхты любови. Ажь разъ вертала принцеса зъ купели и стрѣтила въ гаю молоду цыганку-ворожилю и та еще бôльше засмутила принцесу.«

Марина перестала, но Емилія нетерпеливо порушилась и ей чоло покрылось мракою.

»И що сказала цыганка?« пытала она.

»Она предсказала, що принцеса полюбитъ незадолго одного молодця, но противно не знайдетъ любви.«

»О! и принцеса тымъ засмутилась?« смѣялась Емилія. »Неправдажь, Марино, що то невозможне абы принцеса тая не знайшла любви? Нѣтъ, и кто бы важился ей не любити?!«

И хороша дама уснула якъ дитина при мелодіи колыбельной пѣсни. —

II.

Насталъ ранокъ. На луцѣ коло двора въ Домашовѣ ждали зôбранныи инсургенты и сѣдлали поволи гуцульскіи конѣ, котрыи грызли свобôдно свѣжую траву зъ луки и спокôйно стояли якъ у своихъ давныхъ властителей, гуцульскихъ верховинцевъ. Они жули безъинтересовно траву

и не сподѣваючись, якихъ поборникôвъ поведутъ до кровавого танцю. Молодыи партизанты протирали очи ôтъ сну, зѣвали, крѣпились зимною водою, и гдекоторы дрѣмали еще опершись на сѣдла своихъ коней. Солнце зачало показоватись и пурпуровымъ свѣтломъ озарило вершки Карпатъ, проганяючи густыи мраки, котрыи покрывали землю якъ густый велонъ. Не въ смакъ было молодымъ гогамъ таке житье, бо молчали, понуро смотрѣли наоколо себе и бормотали невыразныи слова, однакъ пардону не было, бо старыи батьки ихъ бодай въ малôй части не позабыли еще на давну дисциплину.

Ромуальдъ и Емилія были вже готовы и выѣхали на тресованныхъ арабахъ зъ двора на луку, где шляхта на нихъ чекала. Безъ крику и восхищенныхъ воскликôвъ сновь не обôйшлося, и всѣ сидѣли вже на своихъ гуцулякахъ, щобы рушити до Ветлины. —

До Емиліи приступилъ мандаторъ-катъ въ селѣ, що дался въ знаки кождому господареви, съ хитрыми очима, шельмовскою миною и съ нагайкою неôтступною въ руцѣ и говорилъ, клѣпаючи очима:

»Маемъ одного доброго пташка, заведеяка довбушовый, такъ му видно зъ очей и барчи-

стыхъ плечей, той рѣзалбы якъ никто, — то сынъ нашого попа Демяновского! але упертый, бестія, ничо не помагаетъ, не хочетъ до насъ пристати.«

»Ôнъ будетъ нашъ, мое въ тôмъ дѣло« закôнчила Емилія и давши знакъ мандаторови, посунулась на своимъ арабѣ въ мѣстце, где мандаторъ указалъ ей словленного пташка. —

Емилія остановилась и смотрѣла удивлена на мущину, котрый стоялъ спокôйно опертый на гуцульскôмъ кони и похмурно поглядалъ на передъ себе. Она опустила зъ своихъ бѣлыхъ и нѣжныхъ рукъ уздечку, ей уста легко задрожали, грудь пôднеслась и доперва по хвили прійшла сновь до себе.

Хорошій статный юноша стоялъ передъ нею — Мирославъ Демяновскій. Зъ его молодого лиця, котре при блондъ-волосахъ и синихъ очахъ припоминало типъ славянскій, трыскала сила, здоровье и полный розцвѣтъ, а въ синихъ понуро поглядающихъ очахъ перебивалось переполненіе мыслей и отвертôсть; его модная одежа не много знищена показовала на мѣйского шарманта, но видно было, що молодецъ хоть на видъ такъ выглядалъ, не перенялся еще тою мѣйскою грязею.

»Вы належите до мене« озвалась въ кôнци Емилія до Мирослава »Сѣдайте на коня и будете при баронѣ Ларизанѣ другимъ моимъ товаришемъ до Ветлина.«

Она сказала то и чекала отвѣта, но Мирославъ молчалъ еще, опертый о коня и затопивши взоръ въ неопредѣленную даль.

Емилія прикусила уста.

»До лѣса лишь« сказалъ Мирославъ всѣдаючи на коня »послѣ свертаю въ наше село.«

»Ларизанъ« звернулась Емилія до барона »представляю вамъ нового приклонника и члена нашой арміи.«

»О тôмъ и не думайте, Емилія Краевска« отвѣтилъ Мирославъ, махнувши рукою и ѣхалъ дальше молчки при хорошôй дамѣ, котра зъ боку поглядала на молодого товариша, якъ дансерка кидаетъ погляды на избранного, игноруючи свого обовязкового шарманта. —

Три ѣздцы ступали по скалистыхъ дорогахъ гôръ карпатскихъ, по спадистыхъ стежкахъ и вертепахъ, то снова по буйно зарослыхъ поляхъ и зближались до лѣса, въ котрôмъ на горѣ рисовались до горизонту руины запавшой будовы. Солнце пôднеслось въ гору, припѣкало и жгло, розпаляючи гранитныи скалы и яруги и обни-

маючи своими горячими лучами золотистыи моря дозрѣлого ôвса и проса, що вже просилося до серпа и косы. И селяне, що гденегде стояли по поляхъ, въ бѣлыхъ одежахъ, въ крысатыхъ капелюхахъ и широкихъ чересахъ, думали вже о жнивѣ и споглядали то на небо, выснуваючи въ думцѣ о станѣ погоды и покивуючи головами, то на свою ниву, що одна была вѣрна угнетенному зо всѣхъ сторонъ селянину. Арабы пѣнились пôдъ крѣпкимъ правленїемъ и выриваючи твердую землю копытами рвались до синявымъ мракомъ окрашенного лѣса, щобы въ его тѣни знайти прохолоду. —

Три ѣздцы поступили въ Домашôвскій лѣсъ и ôтдохнули лѣснымъ холоднымъ и ароматичнымъ воздухомъ. При таинственнôй тишинѣ карпатского лѣса ôтбивались тôлько еха ступанїя коней и стукъ дятела, що звучалъ якъ понурый звôнъ рыскаля при мертвецкôмъ гробѣ.

Емилія сняла кокетный капелюхъ и пила грудью лѣсный холодъ.

»Ôтпôчнемъ, Ларизанъ« сказала она »ôтпôчнемъ на горѣ лѣса. Вамъ баронъ Ларизанъ не въ пору выбиратись на кровавый вальсъ, а менѣ приходитъ конечно гадка, обавятись, щобъ вамъ

въ критичнôй хвили не пошкодила бôльше стрѣла купидона, якъ стрѣла ворога.«

Баронъ съ удивленіемъ поглянулъ на Емилію, николи она не ôтзывалась до него такъ солодко, такъ претенсіонально, николи съ такимъ снисходительствомъ не улыбалась до него якъ теперь и ôнъ чулся надмѣрно усчастливленъ. —

»Я сновь« ôтвѣтилъ ôнъ »не тôлько обавляюсь, но положительно вижу, що такъ будетъ, якъ вы, Емиліо, предсказуете, а вся вина будетъ спочивати на васъ.«

»Шутите« говорила Емилія, поправляючи кокетно рукою фризуру и споглядаючи зъ укоса на молчаливого Мирослава. — Женьщина кокетничаеть съ кимъ-нибудь, щобы избранному приподобатись и замотати его въ нѣжную сѣть, а ознаки приклонности усчастливляющіи попавшого въ неласку, суть часто обчислены на иный полонъ.

Они приостановились на вôльнôмъ мѣстци въ лѣсѣ и освободили запѣненныхъ арабôвъ. Въ глубинѣ шумѣли сосны и смереки якъ дикій хоръ лѣсныхъ божкôвъ, змѣняючись въ протяжный свистъ подôбный смѣху Сатира и модулюючись въ кôнци въ тужливый плачъ страдающой души. Въ близи розлягался лепôтъ

керницы мѣшаючись съ шепотомъ ручая, що журчалъ въ долинѣ, въ глубинѣ лѣса.

»Поведу нашихъ пегазôвъ до крыницы« говорилъ баронъ занимаючись арабами.

»Буду васъ уважати за козака, що поитъ свого коня у берега Днѣпра« шутила усмѣхаючись Емилія, котрой по желанію было ôтдаленіе барона.

Они остали самы — Емилія и Мирославъ. Послѣдній взявши ручницю, оперся о ню якъ стражникъ на ведеттѣ и поглядалъ на село, котре пôдъ лѣсомъ далеко протягалось, жарѣючи при горячихъ лучахъ солнця. Мирославъ молчалъ. Дитинна злôсть сверкнула зъ чорныхъ, прошивающихъ очей Емиліи а роза на лици мѣнилась то въ пурпуру то бѣлу лилію. Она кинула византійскій коверъ на мягкій мохъ и усѣла пôдъ зеленою гущавиною; ей гнучкій станъ, зграбна нôжка якъ у балетнички, пламенѣюще лице, чорныи льоки и живыи очи, все то складялось до образу модной Вилы, славянской лѣсной богинѣ, що гонитъ за сполоханными оленями.

Однакъ стрѣла не всегда доходитъ меты.

Ялицѣ зашумѣли снова а въ горѣ надъ руинами старой монастырской будовы спѣвали пѣсню

воздушныи пѣвцы. За зрубомъ далась чути мелодія тужной шумки и блекотаніе овецъ. За хвилю перебѣгла по при Мирослава и Емилію череда бескидскихъ овецъ, а пастухъ, що пригрывалъ на сопѣлцѣ увидѣвши неожиданно такихъ гостей въ лѣсѣ, пристанулъ, потôмъ прекрестился и побѣгъ за ôвцями. Слабый голосъ звона церковного долѣталъ изъ села, котре що разъ бôльше освободжаючись ôтъ мраки ранной краснѣло при яснôмъ блеску горячого солнця.

»Смотрѣтъ, якъ хорошо« сказалъ не ôтвертаючись Мирославъ.

»Но вы не хорошо ноступаете« отвѣтила дрожащимъ голосомъ Емилія »вы не галянтны. Быти при дамѣ и не старатись о ей взгляды!«

»Того не глядаю.«

»Надѣюсь однакъ, що познаете свôй блудъ и исправитесь.«

»Въ тôмъ дѣлѣ неконечно: впрочемъ, Емилія Краевска, ваши желанія странны: то просто гримасы. Вашимъ елементомъ иный свѣтъ — свѣтъ елеганцкого салону и бульвару, свѣтъ рафинованной козеріи, блескъ балевой салы, шелестъ дорогихъ шолкôвъ, вышуканное меню и вѣчное нервовое волненіе. А я радъ, що звергъ зъ себе иго мѣйского житя, и що вертаю назадъ до

моихъ гôръ и рôдного села, — имъ вызнаю мою любовь.«

Изъ стороны ручая поверталъ баронъ — козакъ съ дунайскими арабами. Ôнъ приближился и заложивши моноклъ скривилъ вже уста, щобы съ всѣми вымогами етикеты заговорити: но ненадѣянно получилъ отъ Емиліи рукавичкою по лици. —

»Баронъ Ларизанъ« приказовала Емилія »вертаемъ назадъ въ Домашôвскій двôръ. Вы ѣдете со мною, а того стрѣхового ембріона оставляемъ его волѣ.«

Она ôтъѣхала съ барономъ и Мирославъ почулъ спазматичный смѣхъ, котрый дивнымъ ехомъ ôтбивался по лѣсѣ.

Теперь стоялъ Мирославъ самъ на горѣ лѣса и съ любовію дивился на рôдне село, до которого давно тягнулся съ тугою, а котре мало стати для него прибѣжищемъ ôтъ мѣстовой замѣшанины. Гуцульскій кôнь стоялъ при немъ и вдыхалъ лѣсный воздухъ полными ноздрями; ему за тѣсно было въ темнôмъ лѣсѣ, а то погулялъ бы на широкихъ степахъ або на высокихъ полонинахъ, за тѣсно въ сердци и тоскно было и юноши. Не веселитись, а плакати приходило Мирославу надъ долею и несчастною

судьбою своей дорогой отчины и своихъ братей въ сѣраковыхъ гунькахъ, що проживали нужденно въ мукахъ, каторгахъ паньщизнянныхъ пôдъ соломяными стрѣхами. Темно было надъ народомъ, що не зазналъ побратанья съ ясною долею а жилъ въ мрацѣ, закованый и пригнобленый панскою волею и нагайкою. Еще не блескотѣло блаженне свѣтло, лишь слаба баснословна згадка за давныи, щастливыи и золотыи вѣки, миготѣла невыразно на престолѣ отечественного чувства. Ще не явилась искра самопôзнанія, що пробудила бы дрѣмающій народъ, а тôлько чорныи фантомы угнетающихъ силъ пересувались передъ очима збѣдженного невôльника. Такій видъ рôдныхъ братôвъ не веселилъ а слезы вытискалъ... Но вже зближалась минута ôтрожденія, вже вырынали посередъ темноты свѣтильныи слабыи лучи, якъ та ранна зоря, що попереджаетъ появленіе солнця. —

Затопленный въ думкахъ сѣлъ Мирославъ на коня, погладилъ его гриву и повторяючи арію о козаку, що зъ вѣка не зналъ пана, спускался по мягкôмъ моховôмъ диванѣ, по крутой тропинцѣ лѣса.

Недалеко плоскотѣла кернична вода. Мирославъ привязалъ коня до смереки и поступилъ

въ сторону керницы, перебравшися черезъ рябину, бозъ и яворову гущавину, станулъ на свобôдномъ мѣстци и — дальше не поступилъ.

При скалистôй керницѣ стояла увлекающа стать дѣвчины, одѣтой въ сельскôмъ нарядѣ, въ чорнôмъ богатôмъ горсетѣ, въ мережанной нашиванной одежи и сафяновыхъ черевичкахъ. — Гнучка якъ опущенна степова нещастна, що замѣнилась въ тополю, здавалась быти легкою якъ ластôвка, що увиваесъ надъ зеленымъ степомъ. Она стояла надъ керницею, съ котрой силою била вода въ пôдложенный збанъ, стояла оперта рукою о скалу тримаючи въ другôй узбиранныи лѣсныи зѣлья и играючи ними съ водою. Коли збанъ наполнился, она взяла его и закинувши чорныи косы, звернулась до ôтходу. Теперь увидѣлъ Мирославъ еи лице.

Маковыи цвѣты не заблекнули еще на ей нѣжныхъ щечинькахъ, а руса коса ще не покрыта была шолковою фатою, но лентою и розмариномъ прибрана. Еще не шила мати красного сарафану и не казала рано косоньку на двѣ розплѣтати.

Ей лице было бѣле якъ снѣгъ и тôлько тіи маковыи цвѣты розцвитали самою красою и житьемъ. Нѣжныи, спокойно и наивно уложен-

ныи уста, рôвный носикъ властивый пôдкарпатскимъ сельскимъ цвѣтамъ, карыи, живыи но спокойно и сердечностію поглядающіи очи становили разомъ совершенну сельску апрѣлькувеснянку, що полно розвивается при маевыхъ лучахъ солнца. —

Она ишла съ збаномъ а ей ходъ завстыдалбы не одну городску даму: при всей ей сельскости видно было якуюто нѣжность и елеганцію въ движеніяхъ а зъ лиця и очей сіяла не проста душа, не простый духъ. Оба тіи елементы, сельскій и чужій салоновый были у ней въ полнôй совершеннôй гармоніи и ослѣпили Мирослава. Ôнъ стоялъ недвижимо. — Дѣвчина перейшла мимо него, долго и спокôйно вдивившись въ его очи, а потôмъ скоро и легко якъ серна зникла она межи тѣнистою гущавиною лѣса.

И Мирославъ пробудившись изъ свого очарованья сѣлъ на коня и силою погналъ до рôдного села, щобы по долгôй розлуцѣ привитати свою хату и рôдныхъ.

III.

»Добре, що вже разъ вернулъ ты сыну«, зачалъ по скôнченныхъ привитаніяхъ сивый, сухій,

высокій, ôтъ старости немного згорбленный и ще въ шляхоцкой капотѣ, якъ всѣ старой даты священники, парохъ изъ Домашова, Плятонъ Демяновскій »добре що вернулъ-есь. Былъ ты щось три роки во Львовѣ, але вижу, що таки зъ тебе ничо иного не буде, якъ то, чимъ были наши прадѣды и пращуры. Якъ схочешь, то тои осени повезу тя до Преосвященного, нехай тя высвятитъ на попа. Та видишь и то, що я уже надъ гробомъ, а въ Домашовѣ треба попа. О тôмъ ще поговоримо; а теперь скажи но менѣ, сыну, що властиво думаютъ теперь Наполеонисты?«

»Вже съ политикою!« заинтоновала досыть объемиста, не молода вже, но все еще крѣпка и черства Праксевія Демяновска, жена Платона, въ коронковôмъ чипку съ пурпуровою кокардою, съ Елисаветскою колосальною жаботкою подъ шіею и въ флоресованнôй тересовскôй сукни. »Боже! тая политика то васъ зъѣстъ, не сидѣлибысьте тихо за пьецомъ и не зачепали якихсь тамъ Наполеонистôвъ. Ану, набій му голову политикою, то змарнѣетъ на ничо. Теперь що иного повинно му быти на гадцѣ. Добре, що вже разъ повернулся. Вже часъ, абы оженился. Кажу ти, файныи панны сутъ ту-пôдростаютъ,

— для тебе есть двѣ, три, четыре до выбору, одна лучша ôтъ другой. Увидишь, що такихъ перелочокъ нигде нема якъ у насъ. Отъ, заразъ близко у пароха Скороводы естъ дочка Ольга, подумай, О-о-льга, хороша, невеличка, блондина и хоть одинъ маленькій блудъ маетъ (за що ю питомцѣ не любятъ), що говоритъ за дрôбно, то все таки можна ся съ нею женити, а за то она вже носитъ и кринолину — чого мало где у попадянокъ теперь еще знайдешь, бо она пожичаетъ модныхъ журналôвъ ôтъ економовой. — Теперь дальше Фильця выхованиця тѣтки о! маетокъ не малый и урода, а на празднику въ Спасовѣ она одна умѣла крокъ польки-франсе. Зновь декана дочки, ажь три; деканъ протекція и такъ дальше: но але самъ переконаешь ся, бо будемъ незадолго робити вступныи визиты.« И допиваючи свою каву, встала попечительна Праксевія и пôйшла изъучати »Временникъ«, що по при »Мотылю« и »Вѣнку« былъ одинокою книжкою въ сороковыхъ лѣтахъ.

»Фатальныи часы« зачалъ теперь Платонъ, котрый до теперь затопленный былъ въ лембергерцѣ »фатальныи часы! Менѣ щось не подобается, шляхта щось вертится, крутится, въ урядовой газетѣ остерѣгаютъ передъ агитаціею,

передъ незванными гôстьми и обшубравцями, що волочатся по краю и высылаютъ ôтъ циркулу комисарôвъ по селахъ; тамъ сновь на границѣ Мадяре нападаютъ на села и рабуютъ, а все кропится на нашôмъ мужику.«

»Мы винны тому« ôтказалъ Мирославъ оглянувши по порядку и старинный споловѣлый плянъ Вѣдня и каббалистичну книгу »мы не повинны такъ заховатись взглядомъ того бѣдного мужика, якъ до теперь было въ ужитью мы повинны зближитись до него и просвѣщати его.«

»Новикъ! новицій зъ тебе, якъ бачу« ôтозвался Платонъ »уже ты собѣ запряталъ голову якимись баналюками тамъ во Львовѣ! Но, но, и я чулъ тамъ щось за теперѣшнїи рухи. Славяне будьто рушаются, Кукульевичъ баснословитъ наветъ о якôмсь славянскôмъ конгресѣ, а владыка Чорногорскій Ньегошъ пише хорошіи поезіи... та то ще пôлъ бѣды, они маютъ бояръ, шляхту, владыкъ... а мы...« и Платонъ махнулъ рукою и здвигнулъ раменами.

»Намъ тôлько свѣтла треба, ничь бôльше, лишь свѣтла« говорилъ Мирославъ, щоразъ бôльше впадаючи въ горячковôсть »народъ нашъ спитъ еще и его треба збудити: до теперь тôлько стогналъ и бѣдовалъ, нова ера надходитъ, сбли-

жается и намъ не все остати на однôмъ степени бездѣлія и темноты, но зачати намъ треба положительну працю.«

»Праксевія! Праксевія! Ходи но« кричалъ Платонъ »ходи но послухай! що тамъ зробилось зъ нашого Емирка. Чи чуешь, яку проповѣдь говоритъ, — новиція, новиція! Але роби собѣ, що хочешь, кобысь мнѣ былъ добрымъ попомъ! Возьми тамъ осмогласникъ и приучи ся гдеякіи кондаки, абымъ, якъ повезу тя до Преосвященного, не завстыдался тобою.«

Кава окôнчилась и оба встали ôтъ стола. Розгоряченный Емирко походилъ по комнатѣ, оглянулъ стародавныи образы по стѣнахъ, межи иными образъ Наполеона первого и новокупленный портретъ епископа Снѣгурского, потôмъ знялъ гитару, необходимый »мебель« въ кождôмъ плебанскôмъ домѣ, загралъ кôлька аккордôвъ пробуючи затягнути пѣснь за гетмана Сагайдачного и такъ повитавши все, выйшолъ передъ дôмъ, где сивый Платонъ стоялъ заложивши руки въ задъ и приглядаючись малому хлопакови, що на оборѣ заходился коло коня.

»Иду на шаласъ« сказалъ Емирко сближившись до батька.

»Ага! теперь естъ въ царинѣ шаласъ за

обочами. Але, чекай, придивися, якъ малый Чико вытресовалъ менѣ коня!«

Малый Чико былъ десятилѣтній цыганъ. Чорнявый съ чорными кучерями, съ запаленными очима, звинный и кровный, якъ всѣ зъ его племени шамотался Чико съ молодымъ гарсамакомъ, якіи дико жіютъ по пусстахъ угорскихъ.

»Не увѣришь, Емирку, що за кровь въ тôмъ Чико« продолжалъ батько, »дике гача*) вытресовалъ менѣ лучше, якъ якій канониръ. Ôнъ ôтлучился ôтъ банды цыганôвъ и сталъ у мене на службу. Добрый, лишь непосѣдющій. Ану но Чико!« крикнулъ Платонъ.

Чико былъ вже на гачу и пôгналъ.

Платонъ опровадилъ ще сына по будинкахъ, указалъ на ôтновленіе плебаніи, котра хоть пôдъ стрѣхою еще — всегда однакъ свѣтила межи курными хатами Домашова.

Изъ тѣсной дороги заставленной плугами и новоплетенною брычкою, не видно было ничо, лишь кусъ неба и спичастыи горы, що замикали плебанôвску долину.

Мирославъ пустился дорогою до села, щобы черезъ него дôстатись до шаласу батькôвского а властиво, абы дати свободу своимъ мыслямъ.

*) Гача = пôдростающій лошакъ.

Солнце снова свѣтило пурпурово, но то не пурпура зорѣ, но пурпура заумиранія. Поволи ховалось оно за карпатскіи высокіи полонины, прощаючись съ дрѣмающимъ селомъ, котре плывало въ бѣлôмъ дымѣ, розлягшимся изъ курныхъ хатъ по долинѣ. На небѣ груповались бѣлыи хмарки, що поволи повлекалися червоною краскою ломаючи въ собѣ вечерніи лучи солнця. —

Емирко пересувался узкимъ прогономъ, помежи соломяныи стрѣхи, поглядаючи часто въ сторону лѣса и руинъ, где видѣлъ красну дѣву. А на мѣстце козацкой заведеяцкой пѣсни насунулась теперь любовна мелодія мягка, тужлива о сарафанѣ и чорнобрывцѣ.

На дорозѣ встрѣчали его то дѣти, котрыи утѣкали ôтъ появившогося пана якъ ôвцѣ ôтъ волка, то паробки, що шутили засѣвши на плотахъ або воротахъ, то старыи, сивыи газды мужики, що ще Маріи Тересы зажили, и знявши кресаню витали по гôрскому обычаю.

Минувши село Емирко перейшолъ на граничній верхъ царинскій, коли вже солнце совсемъ сховалось лишаючи темноту надъ селомъ. Мирославъ пристанулъ и звернулъ взоръ на село. Было вже темно, тôлько въ ôкнахъ курныхъ хатъ миготѣло на припѣчкахъ смерекове свѣтло,

якъ огненныи языки то угасаючи и зникаючи, то на ново вспыхаючи. Зъ далека чути было скрипъ господарского воза, щеканіе псôвъ и клекôтъ буська, що усадовился на соломянôй стрѣсѣ.

»Счастливыи люде, а однакъ безъ долѣ и гаразду« сказалъ до себе Мирославъ и зближался до шаласу.

Кто николи не видѣлъ житя полонинскихъ чобанôвъ и югасôвъ*), кто николи не прислуховался при таинственнôмъ свѣтлѣ мѣсяця або при сумнôй и чорнôй карпатскôй природѣ — тужной и мелянхоличной аріи гôрской коломыйки, кто не малъ случаю пôдхаповати тіи плачущіи и сумующіи мотива карпатской думки выгриванной на простой флоарѣ, и кто не прислуховался сказкамъ старого бацы и чобанôвъ або сивого странника при свѣтлѣ смерекового рѣща, того взоръ почилъ лишь на бѣлыхъ неботичныхъ карпатскихъ полонинахъ и скользилъ по ихъ бѣлому снѣгу або синихъ хмарахъ а — не зазналъ правдивой солодичи. —

Въ бѣдѣ и нужденно жіютъ пôдкарпатскіи сыны подъ гнетомъ, но они чуются счастливыми,

*) Чобанъ = ôвчарь. Югасъ = пастухъ стоящій подъ правленіемъ бацы, головного ôвчаря. —

бо — жіютъ въ Карпатахъ, въ карпатской природѣ, той дорогой матери, що такъ солодкою, глубокою, молящею и тужливою пѣснью уколысуетъ свои дѣти, що тихо якъ блаженный таинственный хоръ шепчетъ любезничающе »Люлѣ« надъ колыбелею свого народа. — Вѣрна сопѣлка, мелянхолична арія всегда и всегда обертающася въ тыхъ самыхъ нюансахъ одного мольового мотива а дальше весела чабарашка, коротка пѣснь о Залавадской дѣвчинѣ съ урваннымъ закôнченіемъ сутъ для ôвчаря карпатского достаточною надгородою за всю его бѣду и нужду.

Ôвчарскій песъ при кошарѣ ôтозвался, поучвши зближающого ся гостя а чобаны, що сидѣли наоколо розложенного огню коло колибы ôвчарскои, поôтвертали свои лиця въ сторону, зъ котрой сближался Мирославъ. Они дивились въ темноту и по видимому не могли розпôзнати, бо одинъ югасъ веталъ, взялъ зъ огня смоляне полѣно и поднесъ го до лица приступившого гостя.

»Та то нашъ властелинъ Емирко« воскликнули всѣ, приточили му пнякъ, упросили сѣдати коло огню и самы заняли давныи свои мѣстця. »Ехъже и непôзнати васъ, Емирку. Бывало дѣтвакъ таки толчеся где по нашихъ увозахъ а теперь-

ану на силу то и чоловѣку якось не въ смакъ было бы заходитись съ вами. Ехъ-же тамъ у мѣстѣ! И волосья пôдтяли и пôдъ шію жолту рубашку дали, а то лемъ кобы вамъ волося по плечи, якъ у насъ, тай ходаки, тожь-то бы чобанъ съ васъ былъ, якого въ Карпатахъ не було! Кусъ пôдождѣтъ то и вамъ волосъ стане якъ Дунай: краса-жь буде бѣлыи кудры якъ Дунай! А ще якіи кудры, думаешь самъ жолтѣсѣнкій ленъ!«

Такъ говорилъ баца начальникъ ôвчарôвъ, малый крѣпкій, широкоплечій и мускулярный гôрнякъ съ долгимъ темно-желтымъ выдегтёваннымъ волосьямъ, съ усомъ подстриженнымъ на видъ щетины, въ широкихъ осмаленныхъ угорскихъ панталонахъ съ чересомъ широкимъ сягающимъ пôдъ груди и въ сѣраковôмъ киптарѣ*) съ блестящими запинками и оздобами.

Прочіи ôвчарѣ сидѣли на около огню съ неôтступными люльками, съ осмаленными лицами, орлиними носами, черными замашистыми усами и ширококрысыми капелюхами. — Изъ дали дался чути голосъ понурый нôчный пугача а въ воздусѣ потягнулъ нôчнїй прошивающій вѣтеръ

*) Киптаръ = родъ жилета безъ рукавôвъ.

полученный съ дикимъ свистомъ. Баца вскочилъ на ноги.

»Ехъ-же! чортъ а не пугачъ« говорилъ онъ, замахуючи великимъ костуромъ »чи сѣди, чи спи, чи люльку кури, а той тамъ кряхчитъ и кряхчитъ, якъ бы му душу вырывали. Дай медведя, уже съ нимъ справлюсь: пôдъ шію му пôдойду, присаджусь, удушу таки руками, а той пугачъ надоѣлъ вже чоловѣку: начнетъ кряхкати, думаешь смерть вже тобѣ за плечима... А то ôтъ того часу скрегоче, якъ той гончарь тамъ забрался.«

»Гончарь? Що за гончарь, тамъ въ старôмъ монастыри?« пыталъ Емирко, пригадуючи собѣ на свою памятную встрѣчу въ лѣсѣ пôдъ старыми мурами опустошѣлого монастыря. —

»Не знаете?« продолжалъ югасъ »тамъ заволѣкся якійсь ни песъ ни баранъ и сталъ мешкати у тыхъ пустыхъ казаматахъ — духъ святый съ нами, — где нога людска давно не ступила. То вѣдьмакъ у заговорѣ съ нечистымъ. Хиба у мѣстѣ такіи дурныи люде, що купуютъ у него горцѣ и збаны а то хрань васъ Боже, они всѣ натерты чомберомъ, що якъ занесешь у хату, то съ нимъ и нечистый. Его звутъ Маковикъ, бо бачьте стара Явдоха, що збирала чер-

ницѣ, пôдсмотрѣла, якъ ôнъ варилъ въ кôтлѣ макъ и гечи-печи, абы тымъ затуманити и заслѣпити людямъ очи. И той пугачъ — то не пугачъ но нечистый вѣдьмакъ.«

»Оно не такъ« проповѣдалъ Мирославъ »но скажѣтъ мнѣ, чи мае ще кого при собѣ?«

»Не такъ?« (Тутъ баца грозьно поглянулъ на Мирослава) »Вы ще молоды, та не знаете, що то естъ чары и темныи силы. Хиба перомъ знаете махати у бюрѣ. А я вже вѣкъ добрый прожилъ. — А мае ôнъ ще, той гончарь и чарôвницю при собѣ. Люде видѣли въ лѣсѣ, якъ ходила. Кажутъ гарна. Але то — русалка!«

Мирославъ потеръ рукою чоло и здавался переполненый быти думками, бо вставши схилился по капелюхъ и лѣску, що лежали на земли и хотѣлъ ôтдалитися. Въ той хвили подулъ сильный вѣтеръ и плотяна кошара затрѣщала.

»Ого« ôтозвался югасъ: »будетъ дощъ а они вѣдай хочутъ до дому ити... Отъ лѣпше переспятся ту въ колибѣ нашой.«

Мирославъ нѣмо поглядалъ въ сторону монастыря.

»На кождый случай естъ она русалкою, въ тое я самъ вже вѣрую, а и чаровати умѣетъ она добре« сказалъ ôнъ и забирался въ шаласъ, где

не одну нôчь въ молодыхъ лѣтахъ переспалъ и не одинъ день просидѣлъ.

»Ану вставай ты »румунешти« « кричалъ баца потрясаючи колибою »маемо ту, Емирку, якогось ôвчаря изъ Валахіи, зайшолъ туда куповати козы и бараны: ôвчарь зъ него былбы ще не абы якій: встыда человѣкови не сробитъ, лише що и слова съ нимъ не розмовишся; по нашому ôнъ не розумѣетъ а мы его не розумѣемъ: пытаетъ насъ по свому »румунешти?« *) а мы ему хиба знаемъ сказати »нешти!« **)

Изъ колибы высунулась стать въ грубомъ сѣраковôмъ войлоку, съ долгими усами, широкомъ капелюсѣ съ припаленнымъ широкимъ лицемъ. — Волохъ бормоталъ несрозумѣлыи слова а послѣ заточился въ сѣно и заспалъ.

Ôвчарѣ ôтновили огонь, дали нôчній знакъ трембитою, и засѣли на ново коло ватры. Ôвчарскій песъ, що дрѣмалъ коло огню, заголосилъ хвилями, почувши въ дали волка а неодинъ лиликъ дôткнулся крылами поломѣней трѣскущого огню, що мѣшался постепенно съ бѣлыми и чорными клубами дыму.

---

*) „Чи говоришь по румунски?“
**) „Нѣтъ!“

а мы базаръ оставили, поки що, на боцѣ и у вдовички якъ у себе застрягли.

»Вижу — она якъ орелъ Прометея не ôтступаетъ ни на хвильку ôтъ мене. Щебечетъ же она якъ тая Лада, а разъ то силу видно въ ней, то сновь мягкость женску и сновь огонь вспыхаетъ въ словахъ. А всему Прометей — я! Быти Прометеемъ? На вѣки?

»Боже, якъ тіи дамы на мнѣ словно всѣ ошибаются. А еще вдовиця кожда, то вже дѣйстна чарôвниця.

»Завести даму въ любовный лабиринтъ, зажегчи у ней пламена аморковыи, видѣти въ ей очахъ жаръ, а по за тое все знати, якъ неудачно она закидаетъ сѣть, якъ стратегію зачала безъ доброго телескопу — то самъ лучшій наркотикъ для души. Солодко дѣлается и легко на сердци. — Такъ я думалъ, а я не зналъ, що жажда борьбы съ дамами, то ничь иного, якъ вспыхающа до нихъ приклоннôсть.

— А що Василю — пытали мы по ôтъѣздѣ — ту чорный кушалъ команицю?

— За насъ иначе бывало — отвѣчалъ Василь — кобы хоть якой матины або простой соломы кинули, а то пришлося чи не заголоднѣти чорному. Приходжу до стайнѣ разъ, два, а

коняка передъ порожнымъ жолобомъ лишь голову потупилъ и думку думаетъ.

* * *

»Рано встали мы и потягнули съ ручницами въ лѣсъ. По снѣгахъ мы толклися, по засыпахъ, то вырынали то сновь западали.

»По Карпатахъ хоть не за дичиною, а такъ за ничѣмъ шастайся, то якто легче стаетъ чоловѣку. Надыбали лѣсного, поспытали за медведя, надыбали и скарбового, поспытали за дѣдича, а дальше зайшли и до пустой лѣсничôвки, где ночовали зимою Мадяре, що въ лѣсѣ дерево рубали. Тутъ мы посилились мадярскою стравою и стали ôтпочивати. Смотрю — а товаришъ мене за руку беретъ.

— Иду — кажетъ до мене.

»Я видивился на него.

— Що? где? — пытаю.

— За гору: о тутъ знаешь: тутъ вже Розвадôвъ.

— А!

— Славка! — сказалъ товаришъ лаконично и здвигнулъ раменами.

— Браво! — отвѣтилъ я — идиже.

»Я зôсталъ самъ на лѣсничôвцѣ а Евсебій

спустился до Розвадова. Счастливъ будетъ, думаю. Чекаю до вечера, нема мого боярына — свата: ба вже темно — нема... И нôчь вже зайшла а я на дармо ожидаю. Я заспалъ. Твердо спится по ловахъ. И на диво, мѣсто лиса або заяця мнѣ снился щупакъ и удка.

»На Бескидахъ засіяло. Нôчка переспалась якбы трѣснулъ. Якъ новонарожденный выйшолъ я зъ поламанной хаты лѣсничôвки. Выходжу — а на пни сѣдитъ якійсь сердяга: въ чиповѣ, въ кучмѣ. Всталъ и кучмою о землю бьетъ.

— А що таке? — пытаю.

— А тутъ листъ до пана.

— До мене? тутъ?

— Ба, говорѣтъ, до васъ! — кажетъ мужикъ, — що панъ то не пень: на милю пôзнаетъ и слѣпый. Чи собъ чи цабѐ, а панъ паномъ буде, хоть якъ го на свое натягай. Ану, чи буде зъ пана чобанъ? Га? — Не буде. А вакарь? Ба, и бовгарь не буде. Вже то такъ. Люде людьми родятся: огню зъ бодака не скрешешь. Та погодѣтъ же, нехай розскажу. Иду я зо святка таки на впростецъ дорогою, ажь тутъ наднесло якогось пана. »Говъ!« кажетъ панъ »где идешь?« — Абожь що? — »Лѣсничôвка знаешь где?« —

Або що? — »Иди отъ то письмо занеси, пану тамъ дай. —

»Мужикъ далъ мнѣ листъ. Я сломилъ ковертъ и началъ читати: » »Пропало: и не вертаю до тебе: просто иду где въ Кечкеметъ або въ Баконскій лѣсъ. Здается вôйду въ баталіонъ Бема а съ нимъ до Чегледу, Медіяшу побивати Шеклерôвъ и Румунôвъ... Що то за дама та Славка! Отказала мнѣ! Пращай. Твôй Евсебій.« «

»Я читалъ и не вѣрилъ. А що? Не маневръ ли у Славки? Съ нимъ тогды кокеттъ а на мене сѣть закидаетъ... Я вже не памятаю, що со мною дѣялось... я былъ якто неспокоинъ... ходилъ цѣлый день, тащился по дебряхъ и лѣсахъ, наконецъ надъ вечеръ станулъ дома.

— А где вы тамъ застрягли? Ходижь. Отъ пять звоевъ полотна въ дарѣ ôтъ пароха изъ Розвадова, полотно якъ шолкъ!

— Такъ?

»Я вже истинно не зналъ, до чого то доведетъ. Обвилъ я голову зимнымъ окладомъ, выпилъ цитринову воду и такъ излѣчившись на часъ, хотѣлъ що нибудь рѣшити но въ головѣ зачало мнѣ щось дуже фантастичного кружити... Я именно попалъ въ лихорадку... горячку... Дней кôлька я пролежалъ... Тымчасомъ минули Рож-

дественскіи Свята и я поволи зачалъ приходити до силъ. На старый Годъ я былъ совершенно здоровъ.

* * *

»Чи тамъ шумитъ еще?« поспыталъ теперь старый продеканъ, поглянулъ въ ôкно и продолжалъ дальше: »Нехай же шумитъ. Была то власне Сильвестрова Нôчь, — Старый Годъ. А за нашихъ временъ то житье было. Анталки съ виномъ якъ мельоны сыпались зъ Угоръ. Именно »такого« — просто зъ рукъ, просто зъ винницы; и Дукелске и Марковацке съ нимъ не рôвналось: якъ перла чисте а пилось словно якъ яку оршаду, якбы вѣтерецъ такъ легкое, здается таки передъ тобою въ воздухъ розôйдется.

»Мы по обычаю пращали въ дома Старый Годъ. Коротко: вино якъ бы пѣна зникало. Но мы въ тую нôчь кругомъ объѣзжали Бескидъ, по селахъ, по сусѣдахъ. Пôдъ добрую нôчь казалъ и я запрягчи мого чорного и пустился до одного давного знакомого Перебенди за Розвадовомъ. (На актъ повитанія Нового Года ôнъ держалъ всегда анталокъ чистого Токаіера.)

»Кто не знаетъ карпатской ночи? Ясно, морозъ трѣщитъ, на дорогахъ мужики съ пѣснями

а въ дали въ селѣ огнѣ по домамъ горятъ. Солодко ѣдется въ шубахъ на кованныхъ санкахъ а еще на якихъ санкахъ! Зъ зады на тлѣ зеленôмъ изъображенъ бѣлый крылатый пегазъ а на передѣ мôй любезный розбишака, чорный арабъ. — Но хоть вино, правда, пилось якъ бы оршаду, то все анталокъ то не напарстникъ а въ шубахъ почивается якъ на лаврахъ. И такъ поволи я несознательно ôтдался Морфею — заснулъ.«

»Кажѣтъ же самы, якій карпатскій вѣтеръ? Шутокъ не знаетъ: якъ вѣетъ, то вже по правиламъ вѣетъ, а снѣжокъ лише до Димитрія порошитъ, за Димитріемъ же сыплетъ, задуваетъ. Ôтъ того ôнъ и Хорсъ, абы свое дѣлалъ. Поки орелъ надъ его внукомъ Радегастомъ крылами треплетъ, доти Хорсъ будетъ Хорсомъ и будетъ помежи зрубы и увозы задувати.

»И той вѣтеръ добре гладилъ по моимъ лици, бо за якійсь часъ я пробудился. Самъ не знаю, що со мною... Дома я, чи сплю... чи мнѣ снится... чи за столомъ сиджу... а може тоастъ пью... А тамъ чи не хоръ духôвъ?...

»Словно духôвъ: хоръ таинственный. Отъ и они всѣ: Чую тоны то жалостныи... то веселыи... то унылыи... Часами утихаютъ и сно-

ва аккордъ... А за тыми тонами передираются другіи... Въ дали село... зъ села мелодіи долѣтаютъ... паланку тамъ поютъ... сѣйбу по хатамъ розносятъ... новый годъ призываютъ... А въ воздусѣ бѣло, бѣло... клубами вются облаки...

»Гдежь я? Смотрю — на роздорожю. Вижу три столпы, три дороги. На роспутіи въ Сильвестрову Нôчь? Якъ зъ неба упало. Само время на то, щобы о судьбу поспытати. Кто у насъ на Руси не пытаетъ о судьбу? Но где духôвъ взяти? А отъ и надается. Уступаютъ клубы бѣлыи... вѣтеръ утихаетъ... вырынаетъ духъ... темный... чорный... А! тажь то лишь мôй чорный коняка, арабъ, розбишака.

»Я розглянулся. Три дороги. Одна знакома мнѣ провадитъ въ Розвадôвъ, друга знакома до вдовички Наталіи а третя ще — въ середину, на впростъ. Но бачу, мы не ѣдемъ, лишь стоимъ, а мôй кôнъ якъ за княжескихъ временъ спокôйно чекаетъ, якъ бы ничо, лишь рисуется на снѣгу.

— Василю — закликалъ я.

— Слава Богу! кажетъ.

— Та що? Спишь?

— Где тамъ сплю! Хотѣлъ, та вѣтеръ вражій не даетъ.

— Тажь мы стоимъ таки? що?

— А стоимъ — кажетъ Василь — тай Бôгъ дасть, будемъ стояти и дальше. Не пôйдетъ конина, хоть що роби.

— Якъ не пôйдетъ?

— А вжежь нѣтъ. Стала на мѣстци, якбы ю приковалъ. Въ Розвадôвску дорогу не пôйдетъ, хоть бы що: знаетъ и кôнь свое: бывало оброку насыплютъ а силованнымъ конемъ не поѣдешь, хоть за уха тягни.

»Полночь вже сближалась. Вертати не вертати а духи внадились мнѣ въ голову. Чому бо конечно суджено, абы я въ полночи на роспутіи снаходился? А еще въ Сильвестрову Нôчь. А щожь то въ кôнци и судьба тая за така матадора! Що она за такое дѣло? А якбы поспытати. Славка чи вдовиця? Тутъ маневръ и тутъ маневръ. А може и нѣтъ! Отъ примѣромъ Славка: Значитъ, она любитъ мене, того лишь и бажай, а такъ лишь може для французского приличія не говоритъ со мною... Щожь але виновата и вдовиця? Словно маски не знаетъ. Що въ сердци, то и на словѣ. Прометей остаетъ Прометеемъ, но за то вижу у ней верву любви. Тутъ чи тутъ? Ану черкнѣмъ. Все одно, що будетъ, то будетъ.

— Василю кажу — пусти коня, лишь бичомъ затягни: Куда потягнетъ, туда нехай и идетъ, тамъ и поѣдемъ.

»Засвистало въ воздусѣ: арабъ взорвался а санки полетѣли за нимъ ани до Славки, ани до вдовички, лишь въ середнюю дорогу. Сказано туда, то туда. И мôй знакомый Перебендя остался на боцѣ. За кремовымъ фишю и за сатиновыми черевичками Славки упала одна слеза зъ моихъ очей и перемѣнилась въ Вирджиніо сигаро, а за вдовицею упала друга слеза и змѣнилась въ кресало и я — запалилъ побѣдоносно вонное сигаро.

»Минула полночь. Годъ Новый на Карпатахъ засіялъ. Хорсъ спрятался за Бескиды: снѣгъ лишь по поляхъ, скалахъ свѣтитъ, блеститъ, съ мѣсяцемъ цѣлуется и якъ діамантный порохъ пôдъ стопами розсыпуется. На небѣ Соварогъ, отецъ свѣта, звѣздами свѣтъ прикрашаетъ, сыплетъ звѣзды по землицѣ: по бѣлой молочной дорозѣ владѣтель Огонь и владѣтельниця Вода, свѣта создатели проходжаютъ, Даждбогови солнцеви золотому пріемъ готовятъ. Блѣдо засвитаетъ Поревитъ, герой безъоружный, солнце зимное зимовое, слабымъ объятіемъ повитаетъ родную землю, но ключи-лучи принесетъ, свѣтъ зеле-

ный открыетъ, роскинетъ по Руси зелену красоту. Накрылъ Новый годъ село платьемъ, ступаетъ бѣлый молодецъ по верхахъ высокихъ гôръ, дорогихъ урочищъ...

»Мы сближались до церкви якого-то села освѣтленной блѣдо мѣсяцемъ и стоящей передъ лѣсомъ. Василь задержалъ коня.

— Поганяй Василю — кажу — до плебаніи. Пріймутъ насъ, хоть въ первый разъ.

— Поѣдемъ — ôтозвался Василь, сойшовши зъ саней и начавши креститись, — та впередъ коло церкви бы пристанути, Васильечка Святого за Новый рôкъ попросити, сѣйбу нехай прикохаетъ, пашу уродливу поведетъ, худобину придбати людемъ припоможетъ, весну най упроситъ зелену...

»Съ тыми словами Василь снялъ кучму и крестившись пôйшолъ пôдъ двери церкви. Мене теперь особенно заняла его стать. Его долгій волосъ въ неладѣ спадалъ на чиповъ; великанъ и силачъ былъ: казалбысь гору перевернетъ: ôтъ блеску мѣсяця западала далеко тѣнь его геркульесовой стати на гробовиска. — Тихо было: природа молчитъ, значитъ, почитай ю, поклонъ бій; все таинственное замыкаетъ она, правда и бьетъ ôтъ ней и таки закована въ ней.

Молчатъ и гробы... Лишь ôтъ лѣса, що за церковью чорнѣется, тоскно шумятъ ялицы... И мѣсяцъ сникъ по за хмары, темно стало... Я смотрю въ облаки, — а мене кто-то за руку такъ и хватаетъ.

»Мѣсяцъ блеснулъ: вижу — передомною Василь; дрожитъ цѣлый на тѣлѣ якъ осика, очи заблуканы, волосъ роскиданый... на лици безсиліе.

— Всѣ святыи! — кажетъ (а самъ тремтитъ, таки изъ нôгъ ôтъ страха падаетъ) — душу запропастилъ... грѣшный чоловѣкъ... хаты чернобыльемъ не затикалъ, шкабіозы въ увозѣ за Покровами не глядалъ... а отъ... тамъ за гробами... гробовый духъ, упыръ, паночку, гробовый духъ въ чорнôй плахтѣ... грôбъ отвирается...

»Ôнъ ледво докôнчилъ. На его лици выступилъ потъ туртуровый; ôнъ зôвялъ якъ пôдтятое ростѣнье... Ничо не сломитъ карпатского мужика... Ворогъ для него ничѣмъ. Выросъ якъ дубъ; справится съ ворогомъ, якъ принадлежитъ; и сила естъ, поборется и съ медведемъ. Лишь одно: съ суевѣріемъ не смѣрится. И сила тогды гдето пропала и великана вже нема, мужикъ дрожитъ, застыгаетъ...

»За гробовискомъ поднимался въ лѣсѣ на полъ пурпуровый дымъ огненный. До того дыму рисовалась слабо якая-то стать черно одѣта. Родъ плахты закиненный на рамена спадалъ до землѣ.

— Гробовый духъ — кажетъ Василь.

»Далеко было уже за полночію. Хоть якъ и не вѣръ за духôвъ, а имъ вже не пора теперь: вже шарѣло... ранне свѣтло пробивалось... А всежь таинственный огонь... А еще и ростетъ огонь той... отъ сильнѣйшій щоразъ... выдвигнулся... полный заблыснулъ...

»А мнѣ и смѣшно стало и жалостно. Що кажѣтъ а Василя жаль менѣ стало: бѣдакъ житя мало не позбылся... А въ лѣсѣ за огнемъ не духи выводились, но Нимроды, компанія стрѣлецка биваковала. Просто огня стояла стать дамы въ черномъ ватеръ — протѣ, отъ же и упыръ, гробовый духъ, що такъ немилосердно косою пôдтялъ суевѣрну душу Василя... А всежь былъ то странный духъ... Огонь освѣтилъ насъ: чиповъ Василя закрылъ на полъ его лице, лишь волосъ его былъ розвѣяный якъ у Горгоны. (Ôнъ послѣ будьто стыдался самъ себе, молчалъ и поглянути якъ то не смѣлъ а отвѣчалъ зъ укоса.)

»Я прійшолъ до огня. Бивакъ роспочинался. На пни сидѣлъ якій то Нимродъ съ червонымъ, воиннымъ лицемъ, съ сивыми пушистыми усами и съ тымъ выразомъ лиця, на которôмъ пробиваетъ вѣчно безжурная веселость и удовольствіе. Его тужурокъ съ аркебузами, у боку на груди блестящій серебрянникъ и замашистая шабля, указовали на бывшого владѣтеля въ баталіонахъ перукованныхъ австрійскихъ воиновъ а по шрамѣ на челѣ пôзналъ я сейчасъ въ немъ не кого иного, якъ бывшого полковника а теперь рентіера въ Салинѣ, однôмъ изъ поблискихъ селъ. Съ ручницею ôнъ не розлучался. А не ходилъ ôнъ по дебряхъ бескидскихъ за »ничѣмъ«: не таскался по снѣгамъ, щобы о Славцѣ або тамъ якой вдовицѣ думку думати, но гонилъ со страстїю то съ хортами, то съ бѣгунами, то съ борсуковыми. А звѣрину зналъ пôдойти. На полонинѣ, кобы где медведика захопилъ: чи въ гаврѣ*) таки чи въ увозѣ, перехитритъ бѣдняку. А будетъ же лисъ, не спѣшитъ. Слѣдомъ заходитъ по мягкôмъ снѣгу, лишь иней изъ уса стрѣпаетъ: думаешь, звѣрина уже где за границею, на Мадьярахъ, где въ буковыхъ лѣсахъ пропала! А полковникъ до щеки ручницю прикладаетъ, за

*) Гавра = медвежа яма.

лѣщиною стрѣлъ звенитъ а лисъ снѣгъ бѣлый кровью краситъ. Такій вже былъ той рентіеръ.

»Ôнъ сидѣлъ на пни и тащилъ изъ стрѣлецкой торбы провіантъ. (То была угорская сальона съ паприкою: я послѣ узналъ, просто зъ Мукачева.) При моимъ явленію ôнъ всталъ, приложилъ долонь до очей и вдивился, якъ вождъ въ перспективу.

— Ехъ, ехъ — кажетъ — гора съ горою не сôйдется, а... Чи не Софронъ сынъ Тимотея?...

»Я привиталъ всѣхъ. Всѣхъ? А! именно кого-то. Такъ тогды чоловѣку стало на души... странно! Я ошоломился, влюбился ôтъ разу. То была дама, дочь рентіера изъ Салины, Серафина въ чорнôмъ ватеръ — протѣ; пôдъ шіею пушистая полная крыса изъ тюля: головка таетъ въ ней, тонетъ якъ роса въ пушистôмъ цвѣтѣ. Очи чорныи, продираются до души чоловѣка: холодъ изъ нихъ бьетъ и жаръ разомъ, якато сила до нихъ приковиваетъ. А тіи бѣлыи щечиньки, бѣлый тейнтъ, ехъ бѣлый, бѣлый!

»Якая то бѣлость была! И росою серебристою по зорѣ умывайся, зѣлья бери, чернокленокъ сбирай а такой бѣлости не будетъ. У ней — говорили люде — собственныи средства на таку бѣлôсть. — За пѣтухомъ, кажутъ, пôдъ

зорю на границю идетъ, головку внизъ, не смотритъ. Выйдетъ же на Верхъ Драгоша, або на Ротундулъ, а тамъ зъ мадярскихъ темныхъ магуръ черезъ чорныи мраки, що почиваютъ на лѣсахъ безконечныхъ дубовыхъ, тамъ ступаетъ дѣдухъ — Чернухъ: бѣла борода у него шелкова, долга, должезна, на мракахъ плыветъ, росплывается. Дѣва косу чорну росплѣтаетъ, на дубовыи безконечныи лѣсы глядитъ: пѣною золотистою-ясною зъ моря далекого умываетъ Дѣдъ-Чернухъ — круглое дѣвичое лице. А лице бѣлѣетъ бѣлѣетъ... Солнце за буковыми лѣсами вырынаетъ, мраки розганяетъ, Дѣдъ за горы сникаетъ а дѣвичое лице прозрачною бѣлостїю яснѣетъ...

»Не любити такого личика? пѣною морскою золотистою умыванного не любити?!«

»Бивакующіи собрали ся на шарака. Снѣгъ свѣжій мягкій припорошилъ, то и зайдется за слѣдомъ на засыпъ чи у потоки и шаракôвъ набьется пару кôпъ. Я волонтеръ присталъ до нихъ. Не такъ былбы я приставалъ до тарабана, що по базарахъ и торгахъ на Коссута вербовалъ, не такъ былъ бы за гарцопомъ где до уланôвъ затягнулся, якъ радо присталъ до той компаніи.

»Я скинулъ шубу, затягнулъ широкій округлый гейдельбергскій плащъ и мы подѣлились на дѣлы. Я, гейдельбергскій рыцарь съ дочерею рентіера Серафинею на камеральныи ланы, другіи где въ обочѣ а третіи въ лѣсъ.

»Такой ловлѣ въ жизни я не малъ; съ такою дамою Нимродкою, лѣсною богинею и мелиссовою женьщиною; ôтъ ней вѣетъ и женска нѣжность и страсть именно страсть стрѣльничая: зъ лиця трыскаетъ полная жизнь а разомъ якійто унывающій тужливый привѣвъ. День боролся съ ночею. Свѣтло ломилось. Его яркôсть побѣджала нôчнюю темноту. Мраморный блѣдо-прозрачный колоритъ розлился по свѣту. А ей лице якъ у статуы: вижу ей профиль до бѣлого снѣга... тейнтъ ей лиця мраморноблѣдо — прозрачный, зоря ранная слабый блескъ кидаетъ на ей личико: словно дѣва Рембрандта... Идетъ не приставаючи, смѣло и скользячи. Ручницею снѣгъ розбиваетъ а не знаетъ хорошая дѣва, що пôдъ гейдельбергскимъ плащемъ крыги леду коло мого сердця розбиваетъ своимъ взоромъ. Чую, она щото розсказываетъ такъ беззаботно, свободно. У ней свѣтъ якимъ-то роскошнымъ урочищемъ; тѣшится тымъ свѣтомъ, одушевляется нимъ, словно любезничаетъ...

»Легкіи платочки снѣгу дрожатъ и лѣтаютъ въ воздусѣ. Тіи платочки, падшіи на ей лице то звѣздочки на небасводѣ, то малыи херувимки ангелики любуются ей красою... Нѣтъ, она сама воздушною сильфидою плыветъ по волнахъ и купается въ перловыхъ звѣздочкахъ снѣжныхъ.

»По мнѣ перейшолъ дрощъ. Плащъ гейдельбергскій на грудь затискаю: тамъ въ груди крахъ, великій крахъ... Солодкое чувство, овладѣло мною... Я былъ на первыхъ ступеняхъ Дантового раю: легко по нихъ ступати... Но голосъ якійто кличетъ ко мнѣ: »борьба тутъ остаетъ«. Пропала и въ моимъ сердци жажда борьбы, я переборолся и попалъ въ любовь, безконечную любовь.

»Мы ишли обое безъ видной цѣли.

— Спѣшѣмъ — ôтозвалась Серафина (а сама сердечно якъ дитя смѣется) — а то не убьемъ ничого. Вы не глядите за тропомъ.

— Извинѣтъ — ôтвѣтилъ я — менѣ теперь не до борьбы, я побѣдженъ.

— А!

»Еще того треба было, щобъ тое »А!« сказала! Оно звучало такъ унимаючо, такъ странно и небрежно и продолжительно и змѣнно, що я правдиво попалъ въ хаосъ.

»По при лѣсъ мы выйшли на верхъ полонины. Тамъ мы пріостановились. Въ лѣсѣ дались чути стрѣлы: то были другіи наши компаніоны. Но мы и не чули добре тыхъ стрѣлôвъ. Раннее солнце показалось. Лучами своими цѣловало оно розовое личико дѣвы Серафины.

»Не лише солнце поцѣлуемъ обнимало тое лице: Еще кто-то его цѣловалъ. Волонтеръ въ гейдельбергскôмъ плащи цѣловалъ тое бѣлое лице, пѣною морскою умыванное, звѣздочками серебрянными оточенное, страстно цѣловалъ я его...

* * *

»Сказано: идетъ о любовь, такъ не говори, но люби чувствуй: весь предай ся той любви. Такъ было и со мною.

»Въ кôнци мы вернули на условленное мѣстце коло церкви. Приходимъ, а тамъ вязка заяцевъ и друга вязка зъ самыхъ гулящихъ щаракôвъ намотана. Огонь трѣщитъ на ново: полковникъ забѣгается коло огню, якъ коло полку. Мукачевска сальона будетъ въ роботѣ. Увидѣвши насъ вертающихъ, приложилъ сновь долонь до очей и смѣется якъ добродушный Сатиръ.

— Славно — кажетъ — ловля была бояры-

нева: по нашому, по старому обычаю, за куницею, за княгинею; высылалъ по краю за ловлею за добычею: ловлею полюбили, добычею повернули, въ родную землю завитали.

»Сердечна была душа той рентіеръ; а ôнъ вже, бачите, зналъ о всемъ: на полонинѣ въ лѣсѣ ôнъ тамъ стрѣлялъ а пôдъ лѣсомъ гейдельберскій рыцарь цѣловалъ дѣву...

»Изъ церковной копулы озвался голосъ звона. То Новорочнїи Звоны. Розлягаются по селу, будятъ народъ до нового житья. И спѣшитъ народъ. А за нимъ старецъ сивый идетъ, молитву шепчетъ за него, проситъ долѣ...

* * *

»Отъ и была памятная нôчь. Долю мнѣ принесла Льелову зорю — Серафину. Тая нôчь останетъ на всегда менѣ въ памяти.

»Еще одно: выходжу разъ въ Салинѣ у рентіера на обору. А тутъ и стоитъ передъ мною Василь. На его фавновôмъ лици нема вже той паники ни безсилія, но радôсть. До нôгъ упалъ и кажетъ:

— Человѣку смертному простѣтъ: души ледво чи не передалъ гробовому духу.

»Я пôднялъ его. Жаль стало Василя. Душа

въ немъ добра, якой мало встрѣчается, лишь въ оковахъ суевѣрія потапаетъ.

— Ничо — кажу — гробовыхъ духôвъ нема. А чорный кôнь що?

— Гуляетъ, якбы где на левадѣ. Я казалъ, где мôй чорный паши не кушаетъ, тамъ изъ сватôвъ ничо; мôй чорный добрый, лишь часами химерный а такъ добра конина, Божьа та ваша.«

»Уже не хотѣлъ я ему вспоминати, що, коли ôнъ мало чи не передалъ своей души тому гробовому духу, що я таки совсемъ передалъ ему мою душу и сердце. —

»За Славку въ Розвадовѣ зачулъ я послѣ, що вже-вже въ монастырь будьто вступати хотѣла. Но все то лишь маневръ. Думалбы кто, направду хотѣла! Кажетъ дама: »въ монастырь иду« значитъ, тужитъ за миртовымъ вѣнцемъ. А если вже коли, то тогды на слѣпо въ сваты заѣзжай и не удивляйся, если тобѣ розскажутъ, що монастырь чи не забрали гдеякіи Яцыги або Камчадалы, що дальше такою заборовою вѣстїю трудно и подѣлитись съ кимъ, бо жаль ни ваги ни границъ не маетъ, но — що противъ воды плысти никто изъ жентлеменôвъ не схочетъ и не будетъ. Тожь и зачуваю я за якого пôлгода — въ Розвадовѣ свадьба. Кто, кто? а то же-

нится съ Славкою мôй давный знакомый Перебендя, той самъ, до которого я ѣхалъ ломити Старый Годъ и недоѣхалъ.

»Любѣтеся, думаю, кождому своя доля и своя недоля. А тутъ якбы мнѣ на докôръ, призываютъ и мене на тую свадьбу. Еслибъ то не мôй знакомый Перебендя, що такъ славно попись овался съ анталками Токаіера, то чоловѣкъ бы може и не заглянулъ до Розвадова именно, где вже и мôй чорный пегазъ щось не дуже потягалъ. (А былъ я вже женатъ съ Серафиною.) Но совѣстно былобъ не поѣхати на свадьбу Перебенди. Приѣзжаю. И щожь Славка, мôй давный Аранжуецъ? Очка будутъ заплаканы? може и не пôднесетъ ихъ на мене, може и словомъ не кинетъ. А она? Ей въ сердци было такъ, то знаю, але маневръ! Еще якъ пôдросткомъ была, то вже стратегію яку вела, а теперь! Тожь якъ тогды до мене ани слова, такъ противно теперь всегда менѣ просто въ очи смотритъ и сѣчетъ словами, ажь розъясняется человѣку въ умѣ. Ни лимоніада, ни оршада, ни о-де-Колонь не ôтсвѣжаютъ такъ ума, якъ звучная и безконечная бесѣда прелестной женьщины. Розмавляетъ она со мною яко съ »другомъ« давнымъ. Съ другомъ! Ге! ге! Розумѣемся на пта-

шечкахъ. Удаетъ, будьто о любови ей и не снилось, лишь о пріязни. Но таки озвалося то, що колись звенѣло. Взяла она шездару.

— По давному — кажу я — гарпеджіами берѣтъ, урывисто. Отъ тую пѣснь: »Повѣй вѣтре«.

»А она ни той ни тамтой пѣсни, лишь ôтъ разу отъ таку: »Топили ся снѣги зъ горы, на долинѣ стали, — Любили го красны очи, теперь перестали«. На тое »перестали« прійшолъ неизглубимый гарпеджіо. Перестали? Она хотѣла тымъ мене уничтожити: хотѣла, абы я зъ ôтчаянія зъ ума сôйшолъ, абымъ якъ Гамлетъ якій по свѣту божôмъ скитался. Но сновь на мнѣ ошиблась. Она гарпеджіо, а я вирджиніо, извѣстну метаморфозу моей слезы по сатиновыхъ черевичкахъ. Я переконался, що кромѣ дамского щебетанія еще одно ôтсвѣжаетъ умъ, — мое вонное сигаро.

»Менѣ-бъ скôнчити уже« говорилъ продеканъ поглядаючи на годину »бо вже и у насъ полночь надходитъ. Лишь еще за вдовичку. Она мимо волѣ не плыла противъ воды. Якійсь часъ сбирала она еще ленъ дрôбненкій по пôдъ гай зелененкій, коли разъ и не оглянулась а тутъ якъ зъ неба упалъ для ней зъ Пешту спадокъ не

малый, а такій, якій слѣдовалобы добрымъ людямъ хотьбы ôтъ случаю получати. По тôмъ спадку забралась она на Угры и ôтъ тогды не чули мы бôльше о ней ничого.«

* * *

Продеканъ окôнчилъ розсказъ. На лици его не было видно вже той ироничной стрѣлы: якась задума покрыла чело: ôнъ мыслями снаходился еще въ минувшости.

Въ тôй хвили роздался передъ плебаніею голосъ звонка: мы догадовались, що якій-то сосѣдъ заѣхалъ на Новый Годъ, но не ôтгадали. Двери отворились и въ комнату вступилъ мужчина закутанный въ зимовыхъ медведяхъ. Ôнъ вôйшовши знялъ боброву кучму, пристанулъ и поглянулъ по ряду на всѣхъ собранныхъ. Лице его было всѣмъ незнакоме. На диво самъ продеканъ не вставалъ витати нового незнакомого гостя, лишь вдивился въ него якъ Дон-Жуанъ въ зачарованну стать. Рôвно и незнакомый устромилъ взôръ въ продекона Софрона, якбы ожидалъ ôтъ него первого слова.

— А що? — поспыталъ гôсть въ кôнци.

На то продеканъ вынялъ зъ портфейля якій-то портретъ, вдивлялся то въ него то въ незна-

комого, его бровь зачала дрожати а на устахъ явилась весела улыбка.

— Эй Богу! — сказалъ продеканъ — усъ уже такій же самъ: эй Богу такій! тую саму принялъ бравурнôсть и той самъ видъ, якъ у того ту портретового сродника. Я казалъ, що то колись не будетъ изъ того балабонского уса! Евсебій!

Оба други впали собѣ въ объятія.

— Живешь?

— Живу.

— Гараздъ?

— Гараздъ.

— Кажи же, где бывалъ? Копа лѣтъ! Застрягъ же ты въ свѣтѣ и чутка о тобѣ пропала.

— Якъ? не знаешь? — пыталъ Евсебій, усѣвши по привитаніяхъ и попиваючи Шамародное, — не знаешь? То розкажу. Кажешь и чутка о мнѣ пропала. Ну, то...ешь памятаешь, коли я зъ лѣсничôвки пустился до Розвадова. Ôтъ тогды мы не бачились. Славка ôтказала мнѣ. А я, тайкомъ признати, залюбился въ ней по уха. Я попалъ въ отчаяніе. Сразумѣешь, що по такôмъ ôтказѣ я не былъ въ силѣ такъ дальше провадити житье по англійски: рано кава, сигаро, газета, ôтпочинокъ, и сновь обѣдъ,

сигаро ôтпочипокъ... такъ жити я вже не мôгъ. Мене тягнуло гдесь, въ якусь борьбу въ якійсь шалъ, словомъ тамъ, где бымъ мôгъ позабыти о всемъ. Все одно, думаю, кинусь гденибудь... Первый полкъ, якій встрѣчу, тамъ и пристаю. На счастье было то время, где весь свѣтъ о крови и куляхъ лишь думалъ. Въ Парижи льялась кровь на бульварахъ, въ Тюилерахъ, въ Медіолянѣ заблысли кинджали, въ Нѣмеччинѣ кипѣло въ федераціахъ, въ Вѣдни передъ соймомъ, въ Празѣ на Вишеградѣ, а въ Уграхъ гулялъ Деакъ... словомъ стати въ бôй, было тогды дѣломъ такъ звычайнымъ, якъ выпити по англійски чорную каву. И я не долго ждалъ. Первый прапоръ, якій мнѣ насунулся, былъ прапоръ генерала Шлика, що тягнулъ до Угоръ. Я станулъ въ ряды. Толкъ ся чоловѣкъ тамъ по якихсь Тарчалахъ и Лосончахъ, все то вже и не помню, лишь то, коли я яко реконвалесцентъ ôтъ полученной кулѣ выйшолъ на свободу въ Пештѣ. Тамъ я и осталъ въ моимъ чинѣ. За Славку немного забылось: поволи остигалъ во мнѣ огонь. Но прійду вже до рѣчи. Разъ иду безмысленно по алеѣ Маргаретской на берегу Дунаю въ Пештѣ. Умученъ сѣлъ я на однôй парковôй лавочцѣ, на котрôй лишь яка то дама

сидѣла. Сиджу и поглядаю въ волны Дунаю, — коли на разъ чую родное слово. Кто? а то тая дама говоритъ. То была вдовичка Наталія, та сама Наталія, у котрой мы были. Я урадовался, що почулъ на чужинѣ родную бесѣду. Мы начали розговоръ. Вижу, она троха и не та прежня вдовиця, — свѣтова дама изъ ней сробилась. Я узналъ, що она получила спадокъ бôльшій, що по условіямъ того спадку мусѣла переселитись въ Пештъ, що тутъ и на дальше останетъ. Гмъ, а во мнѣ якбы хемичный процессъ ôтбывался: спокôйно стихіи розкладались. Мы съ нею послѣ частѣйше видались, розпôзналисъ и вже отъ на чужинѣ, знай, такъ сложилось. Я роздумалъ, якъ то на свѣтѣ одинокому ни жити ни що, и за якійсь часъ я съ нею одружился. —

Евсебій пересталъ на хвилю, а на лици продекана перелетѣла незначно та иронична стрѣла. Ему вже крутилось на устахъ слово »маневръ« и »удка«, но ôнъ побѣдилъ себе и Евсебій продолжалъ дальше.

— Мы долго были въ Пештѣ. Въ кôнци затужилось и за родною землею а и сынъ мôй входитъ вже въ свѣтъ. Хочу зъ него мати не Пештенского но Львôвского елева. Тому мы

забрались совсемъ въ Галичину и первымъ моимъ дѣломъ было ôтнайти не кого иного, лишь — тебе.«

— Браво! — закôнчилъ продеканъ, — отъ що: повѣрь. Не разъ я задумовался, неразъ хоть доволенъ свѣтомъ, а чогось въ задуму попадалъ. А то длятого, що друга правдивого недоставало. Ôтъ розстанія съ тобою тужилось за правдивымъ другомъ. Теперь иначе. Двѣ ночи въ житью мнѣ памятны. Одна, коли мнѣ оказался странный мôй духъ, моя Серафина, моя доля а друга нôчь нынѣшня, котра довершила мое счастье. Теперь могу радостно сказати слова пѣсни: »Маю го неомыльно, пріятеля, щомъ такъ его бажалъ.« —

Сновь закружило Шамародное, мы выпили по правиламъ грôмкій салямандеръ на ôтзысканіе друга а такъ попращавши старого продекапа, сѣли на наши зимовыи фаетоны и розъѣхались на четыре стороны карпатского свѣта.

Партизантъ.

Новелля.

I.

Вѣтеръ легко колысалъ золотистымъ моремъ подôльско-пôдгôрской пшеницы, проса и гречки а солнце полудневымъ жаромъ жгло и припѣкало, наполняючи воздухъ своими блыскотливыми дрожащими пламенями, що жаждно выпивши всю раннюю росу миготѣли теперь надъ Пôдгôрьемъ, якъ Провнъ, божокъ съ своею огнистою стрѣлою владѣетъ надъ дочерями Лады, водными Льелями и Дѣдиліями.

Здавалось не было жіющого существа, которое въ тôй спекотѣ не палалобъ жаждою свѣжого холоду, ôтживляющого напою, которое бы не льнуло до таинственной тѣни, щобы тамъ пôдъ крылами лѣсной Вилы зачерпнути тиміанового вонного воздуха.

Въ кармазиновôй пестрôй хустцѣ закрывающой лице отъ жару солнця, въ червонôмъ сарафанѣ и чорнôмъ горсетѣ ступала сельская дѣва съ короводами по зеленôй луцѣ и приближалась до журавельной керницы стоящей въ близи сельской осады.

На камеральнôй дорозѣ, осадженной рядами браклену, калины и плачущихъ березъ пôдносились клубы дорожного пылу. Зъ помежи клубôвъ вырынали два ѣздцы, що на подôльскихъ гарсамакахъ продирались помежи пекущій воздухъ. При керницѣ они пристали. И покутующій Танталъ не выжидалъ такъ грознъ и воды, якъ оба запыленныи ѣздцы. Они зступили зъ коней и сельская ганимедка въ кармазиновôмъ завою, ганимедка, изъ котрой очей можно было такожь изобильно пити, подала имъ холодящій напôй.

Молодый ѣздецъ былъ розогрѣтый на лици, но видно было, що тая палающая роза не постоянна у него, що она хвилево выкликана жаромъ дня; за нею пробивала блѣдôсть, назначающая терпящое лице. Его рука одна почивала на чорнôй завязцѣ а его гнучкая, высокая стать не выдавала вже той силы, съ якою може недавно затинала по геройски саблею. Милитарисмъ

сникъ зъ его рухôвъ и чертъ, легкое увядающое безсиліе но притôмъ и слѣды не зникшей еще свѣжости розлились теперь по его лици: въ очахъ его замѣтна была тужливôсть и затопленіе въ минувшôсть. Его мужескіи, певныи, хорошіи черты лиця, окрашенного кудрами чорного волоса дôзнавали окôнчательного закрою въ республиканскôй бородцѣ, котора на паркетахъ салоновыхъ одушевляла не одно дѣвичое сердце.

Широкіи крысы затѣняли лице а по замашистой саблѣ упятой при боку, по жакетѣ жуавскôмъ и синихъ панталонахъ пôзнати въ немъ одного зъ тыхъ запаленныхъ юношей, що не зимно приглядались кровавымъ дѣламъ, веденнымъ по бастилляхъ, брукахъ и барикадахъ, но брали участь живу и горячо ставали въ первыхъ рядахъ, пробиваючи собѣ кроваву дорогу до своей цѣли.

Его товаришъ то вже не жентлеменъ съ республиканскою бородкою, то не жуавскій елевъ: ôнъ и въ очи хорошой дѣвы не заглядываетъ. Его лице было якбы облите водою. Долгимъ обдертымъ халатомъ отиралъ ôнъ чело и бормоталъ несрозумѣлыи слова, якбы проклиналъ пекущій воздухъ и вздыхалъ за холодною долиною Іешурумъ. То былъ Хасидъ, потомокъ каб-

балистичныхъ старозаконныхъ аллхимистôвъ, достойный наслѣдникъ тыхъ чудотворцевъ, що передъ вѣками на тôмъ самôмъ мѣстци такъ философично вели дѣла съ королевою Боною, а разомъ и одинъ изъ доступившихъ славы, быти въ свято Шушанъ-Пуримъ въ цѣлой окрестности Городка заступникомъ саломонового Рабби, коли той выбирался въ то свято съ своими герольдами до свого сына въ Смеречнôмъ, Харона новомодного, котрый черезъ Сянъ пущалъ промомъ людей на другій засянскій свѣтъ.

Его долгая завиванная борода была на пôлъ шпаковата, шія долга якъ у керничного журавля, руки сухіи костистыи а голову покрывала погрѣшная израильская аксамитка. Черезъ плечи его закинена была вязка кукурузы, якъ вѣтка спокою, якъ флагга голосящая людемъ, що стоящій пôдъ нею человѣкъ рабъ божій, знающій лишь яку одну пѣснь изъ Геморы и день ярмарку въ Бердычовѣ.

»Теперь скажи мнѣ дѣвчино« ôтозвался въ кôнци молодый партизантъ, напившись до волѣ »якъ много еще до Перемышля?«

Селянка розсмѣялась полно, якъ смѣются лишь дѣти и женьщины и середъ смѣху поглядаючи изъ пôдъ червоного завою поступила

стежкою въ село. Въ тôй хвили долѣтали до нихъ дикіи тоны бакхантской музыки, съ котрыми мѣшались мелодіи барикадового сложенія. Оба ѣздцы порозумѣли смѣхъ селянки. Зъ противной стороны дороги сближалась громадка польскихъ гвардзистôвъ въ костюмахъ новопоставленной народовой гвардіи и спѣваючи буршикозную пѣснь сникла въ передмѣстью. Передъ здороженными ѣздцями стоялъ городъ Перемышль, цѣль ихъ дороги и вже потомокъ аллхимистôвъ не утискиваетъ на безвыходную спекоту, но якъ Донъ-Кишотъ ревнуетъ въ бѣгу на своей худощавой шкапѣ съ товаришемъ въ направленію до такъ ожидаемой рогачки перемышльской.

Умучены стали гарсамаки при рогачцѣ. Изъ комнатъ камѣнной обдертой корчмы долѣтали тіи самыи звуки, дикіи крики, бурлескныи вызывы и брячаніе шклянокъ и сабель. Новыхъ гостей обступила сейчасъ шайка гвардзистôвъ выйшовшихъ изъ корчмы; усатыи постати, широкіи плечи, въ шарыхъ блюзахъ стягненныхъ чорными пасами, съ упятыми карабелями и съ пурпуровыми кокардами на груди, всѣ приверженцы червоной революційной флагги, а именно члены завязавшойся тогожь 1848 года народо-

вой гвардіи. Они обступили съ пôднесенными руками, съ вызывающими кликами и хитающимися ôтъ надмѣрного ужитія Марковацкого вина головами, новоприбывшихъ незнакомыхъ.

»Кто естъ?« дались чути голосы бенкетовавшихъ гвардзнстôвъ и вже забрязчали бендерскіи карабели, заблысли до лучей солнця а крики неустанно повтарялись и лучились съ бакхантіями корчемныхъ товаришей.

»Вашъ, вашъ« говорилъ довѣреннымъ голосомъ пріихавшій молодый ѣздецъ и якъ давный знакомый почалъ безженадно розпрягати свого гарсамака.

»Такожь вашъ« промовилъ жидъ Шлойма, согнувшій ся на видъ розбенкетованной шляхты въ серпентину.

»Жидъ?!« кричала шляхта и до еврея показались ряды зубôвъ шляхоцкихъ и многіи изъ шляхты сдѣлали совсемъ недвузначныи замахи саблями.

»Сюда!« ôтозвался выступившій напередъ капитанъ гвардіи, толстый, объемистый мужчина, съ червоностію на лици впадающою въ фіолеты, съ гербовою шляхоцкою запинкою на шарой блюзѣ: »Ты жидъ? Давай его сюда! Побачимъ, чи ти справдѣ такій жидъ. Знаемся на такихъ

лисахъ. У косметіера во Львовѣ теперь фабрикуются такіи будьто невинныи существа; ехъ же, а еврей ты, такъ стережись; тнетъ моя карабеля не на шутку... Сюда!«

»Ексцеленціо!« согнулся жидъ »я простый Хасидъ, що ѣстъ свое Шолетъ и свое Пенецликъ, а лишь въ свято Гадалягъ гусью шійку съ утробою... ай, таже то панъ капитанъ, цимесъ не капитанъ, значится по виду самъ Коссутъ, цѣлый Коссутъ...«

»На гакъ жида!« кричала розгоряченная, майже бѣшенная толпа.

»То простый еврей« сказалъ такъ же довѣреннымъ тономъ молодый партизантъ »ôнъ ѣхалъ со мною зъ Городка. Я вертаю зъ Львова; если принимаете, вступаю въ вашу гвардію; моя рука вже гоится и начнетъ незадолго такъ же дѣйствовати, якъ прежде.«

»Браво!« закричалъ объемистый капитанъ, покручуючи усъ и оглядаючи нового члена ôтъ головы до нôгъ »отлично! Вже бачу, зъ тебе сержантъ будетъ, якбы на то родился. За мною братья въ комнату: повитаемъ нового товариша.«

Гвардзисты поступили въ брудную аулю, въ касино одымленное, засыпанное на стѣнахъ ôтвѣч-

нымъ пыломъ, переполненное воздухомъ алькоголичнымъ и дымомъ гаваннъ.

Лишенный жидъ ôтдохнулъ немного и вже скрутился, щобъ сухимъ путемъ изъ того кроваваго едену выскользнутись, коли почулъ на колнѣрѣ свого халата сильную руку. Ôнъ не змôгъ еще и оглянутись, коли тая-жь рука гвардзисты пôднесла его въ воздухъ и за хвилю узрѣлся жидъ середъ бенкетующой гвардіи въ шинковôй комнатѣ, где вино и пиво лилось по земли, где въ углѣ стояли великіи куфы николи не замыкавшіися, где воздухъ дрожалъ ôтъ дивной смѣси найрозличнѣйшихъ тонôвъ. — Мелодіи мѣшались: тутъ фривольный куплетъ, тутъ косцюшковый мотивъ, а тамъ звучитъ марсиліанка, той одушевляющій горячій марселезъ, за котрымъ слѣпо толпы ишли въ бôй и съ роскошію купались въ власной крови.

Гвардзистъ принесшій жида, поставилъ его середъ комнаты. Шлойма поблѣдъ и дрожалъ. Въ кождôмъ столпѣ комнаты видѣлъ ôнъ свою шибеницю.

»Корчмарь! Шинки, сейчасъ тутъ шинки!« приказовалъ капитанъ, плеснувши въ долонь и призываючи корчмаря.

Корчмарь попалъ въ клопôтъ и завивалъ ру-

кою уклончиво пейсы, но безграничная бута шляхты не знала пардону. До корчмаря свернулся лѣсъ шпадъ гвардійскихъ и корчмарь радъ не радъ удалился, щобы удовлетворити желанію шляхты. Въ коротцѣ была и шинка, котору корчмарь якъ жаренный уголь поставилъ на столѣ.

»Сѣдай« ôтозвался теперь капитанъ до Шлоймы и потягнулъ жида до стола »ѣджь; отъ тобѣ Шолетъ и Пенецликъ.«

Жидъ безнадеждно поглядалъ на капитана.

»Стоишь?« Сабли заблысли и сновь цѣлый лѣсь пиковый стоялъ передъ смертно блѣдымъ лицемъ еврея.

»Ай!« ратовался жидъ »що за сабли! Чи не зъ Персіи! певно: то то и товаръ, теперь и не знайдешь такихъ: лишь — але ктобы не зналъ мого шурина, що маетъ етаблиссманъ во Львовѣ... тамъ еще щось доброго естъ... золото не сабли... мôй дѣдъ привезъ изъ Бессарабіи.«

Но слова не помогли; сильная рука пôднесла его въ воздухъ и посадила передъ шинку.

»Чого чекаешь?« пыталъ капитанъ.

»Чекаю, поки Левіатанъ не прійдетъ и не поглотитъ мене...«

Двери лопнули и въ комнату вступилъ не Левіатанъ вправдѣ, но статный мужчина съ ясною долгою бородою съ колпакомъ перъ на головѣ.

»Полковникъ! Ура!« витала его толпа.

Мужчина съ ясною бородою взялъ стоявшій на куфѣ збанъ съ пивомъ, выступилъ на стôлъ и пôднесъ збанъ.

»На добро републики будущей пью полный до дна: нехай жіетъ република!« голосилъ ôнъ.

»Най жіетъ република!« дуднѣло въ комнатѣ и на ново ôтозвалось брячаніе чашъ и збанôвъ. Шамародное плыло якъ необъузданная свобода и въ коротцѣ загремѣла изъ всѣхъ грудей горячая марсиліанка, републиканская пѣснь, а послѣднїи ей слова не хотѣли ніякъ утихати. По окôнченію пѣсни, котрой жидъ ужилъ до такъ ожиданного бѣгства, попровадилъ капитанъ нового гвардзисту передъ полковника.

»Новый членъ нашой гвардіи Евтимъ Рокитанскій« сказалъ капитанъ указуючи на прибывшого молодця.

»А! рука?« поспыталъ полковникъ поглядаючи на бандажованную руку Евтима.

»Изъ краковскихъ барикадъ« отвѣчалъ Евтимъ »въ уличнôй борьбѣ контузію получилъ.«

»Рокитанскій? передъ двома лѣтами въ корпусѣ Мѣрославского...«

»Той самъ, и тамъ былъ я.«

Полковникъ подалъ ему руку. Ôнъ назначилъ его изъ свѣжа сержантомъ. Еще разъ загремѣлъ въ одымленной комнатѣ тоастъ на повитаніе нового члена, еще разъ затягнулась республиканская пѣснь и пôздно вечеромъ опустила толпа рогачку, коли вже солнце заумерло и надъ подôльско-пôдгôрскими полями розстелилась тишина и блаженный холодъ.

* * *

Но сержантъ Евтимъ не спочивалъ. Ôнъ ôтдѣлился ôтъ товаришей и началъ иное дѣло, а видно было, що гвардія не была его одинокою цѣлью, що ôнъ ôтъ узвычаенія втягнулся въ ей ряды, що она не была для него новостію, но знаннымъ давнымъ лягеромъ.

Ôнъ натягнулъ якъ слѣдовало и шарую гвардійскую блюзу и бобровую гранястую шапку и вступилъ въ богато тапетованныи, въ геліотроповой вони уплывающіи салоны хорошой аристократки Анны Рожицкой, щобы изъ ей нѣжныхъ рукъ получити на грудь червоную кокарду, гвардійску ознаку. И не уйшло его уваги, що бѣлая рука дамы, ко-

тора цѣла плыла въ геліотроповыхъ перфюмахъ, задрожала при припинаніи, а и ôнъ чулъ, що геліотроповый чаръ упоиваетъ его. Но молодый сержантъ не дрожалъ уже на видъ женского упоительного шалу. Ôнъ дрожалъ лишь на два воспоминанія; що иного выкликовало кровь на его лици, а то: той горячій марселезъ, мотивъ републиканскій, при которого звукахъ палало его лице а рука съ дрожаніемъ почивала на сабли. И еще разъ волновалась кровь его на иную мысль, но вже бôльше безнадеждно, коли ôнъ на самотѣ стремилъ къ своей другой цѣли...

Ôнъ выйшолъ на тротоаръ. Свѣтло денное озарило его. Мрачно поглядали его очи, темный былъ для нихъ и свѣтъ. Холодно поглядалъ ôнъ на свѣтовую бурю и шалъ, а зъ того холоду сбудилъ его гвардіовый тарабанъ.

На пространныхъ болоняхъ, розстелившихся у стôпъ колись княжеского города блестали желѣза, порушались масы шарыхъ блюзъ: новый воинный союзъ, народовыи польскіи охотники организовались, упрощались на широкихъ болоняхъ. Изъ старой вежи мѣста повѣвала червоная флягга, а въ ресторанахъ, кавярняхъ публичныхъ мѣстцяхъ и кнейпахъ, всюда жарѣли тіи же самыи пурпуровыи кокарды. — Вернула изъ бо-

лонья бригада гвардіи. Шумно и гулящо стало въ мѣстѣ: во всѣхъ сходныхъ мѣстахъ кипитъ жизнь и бѣшенная безграничнôсть.

Лишь Евтимъ не идетъ въ тую струю; не сливается съ необузданною веселостію. Ôнъ блудилъ безмысленно по темныхъ улицяхъ мѣста и умученъ вернулъ въ свою комнату.

Необыкновенная вонь очутила его: на столѣ стоялъ свѣжій букетъ и нѣжною женскою рукою былъ ôнъ сложенъ. А вонь то знанный геліотропъ. Ошоломяетъ душу. Вонно было, лишь въ души сержанта темно, якъ на пусстѣ безграничнôй, где око не можетъ спочити. И душа его не могла спочити.

»Одинъ« говорилъ ôнъ »такъ мучительно одинокъ на свѣтѣ!... Но мене палитъ жажда... Снайду его, хотяйбы въ гробѣ... Безъ ней пусто мнѣ на свѣтѣ, безцѣльно, а она —!«

У дверей почулись кроки: они отворились легко и шпаковатая израильская борода и вязка кукурузы вызырала изъ сѣней.

»Ходи!« повелѣлъ Евтимъ.

Жидъ вступилъ и оглянулся несмѣло.

»Нема ихъ? Нема ани одного бôльше? Ай! славныи паны тіи гвардзисты: що славныи то славныи. Лишь мнѣ якто жаль стало тогды того

капитана, бо впрочемъ Шлойма, заступникъ соломонового Рабби...

»Кажи, выдобылъ ты що?« перервалъ Евтимъ.

»А щожь бы заступникъ Рабина не вынайшолъ? Лишь може панъ сержантъ припоминаютъ собѣ, чи ôнъ не былъ съ шрамомъ на лици?«

»Такъ: съ шрамомъ ôтъ потягу сабли.«

»Но, идетъ дѣло« затиралъ руки жидъ »мы уже на тропѣ.«

»Говори.«

»Тая въ кармазиновôй хустцѣ розсказала... она видѣла ихъ.«

»Якъ ихъ?«

»Его и...«

»Що? и она... моя...«

»Такъ, тая селянка видѣла ихъ... они ставали передъ престоломъ тутъ въ однôй церкви... тутъ получились.«

»Человѣче!« стогналъ сержантъ »неможливе! она — Елиза!... лжешь!«

И сержантъ потрясъ жидомъ, котрый ôтъ переляку попалъ въ совершенный клопотъ.

»Га!« говорилъ жидъ »певно, певно неможливо... где бы они и побирались...« и ôнъ хотѣлъ уйти изъ комнаты, но сержантъ придержалъ его.

»Чекай, теперь иное дѣло; до чого иного послужитъ мнѣ сабля партизантска... ôнъ мôй пріятель а такъ пôдойшолъ мене!... Теперь кажи где ôнъ?«

Жидъ стягнулъ раменами.

»То вже не пôйдетъ такъ легко: широкіи и далекіи горы Карпатскіи и Подôлье широке... но кого бы Шлойма не ôтнайшолъ. Лишь тіи гвардіеры, ай, то хоть собою славныи люде, але Мишны и Геморы ани крыхты не знаютъ!...«

...Безчувственный сидитъ сержантъ: нôчь ôнъ не спитъ. Блѣдымъ и сломаннымъ застала его ранная зоря. Дрожатъ лучи солнця, первыи вѣстуны свѣтла, надежда ростетъ, взмагается. Свѣтъ свѣжій, жизнь свобôдно бьетъ а однакъ увядаютъ всѣ проявы, всѣ зародыши счастья, безвозвратно зайшли за темноту всѣ видѣнія роскошныи, а пустинная безжизненнôсть стоитъ передъ нами якъ прослѣдующій не яскравый, не унимающій души фантомъ...

Поволи пôднялся Евтимъ, взялъ бобровую шапку и выйшолъ на утренній свѣтъ. Солнце освѣтило давный княжескій городъ. Якъ митичная палата блескотѣлъ тамъ въ раннôй срѣбрнôй мрацѣ старый замокъ, якъ давный свидѣтель всей свѣтлой минувшости. А зъ выжины гôрской

продиралъ раннюю спокôйную тишину голосъ церковного звона и звенѣлъ жалостно якъ стонъ угнетаемой души, скрôзь слезы смѣючись, якъ дитя при явленію блескотливого свѣтла. А такъ было и въ народѣ: стоналъ пôдъ тяжкимъ гнетомъ а при первыхъ лучахъ сближающей ся свободы тѣшилъ ся скрôзь слезы...

И въ первый разъ пристанулъ сержантъ на голосъ того звона; ему дивно прошибло черезъ душу. Неизъяснимое чувство овладѣло нимъ и не пôзналъ Евтимъ въ тôмъ звонѣ вѣстуна, но свернулъ взôръ на повивающую изъ старой вежи фану и дальше ступалъ, а звôнъ далеко на пôдгôрскую рôвнину пущалъ свои плачущіи тоны.

На улицяхъ тягнулись ранніи робôтники, крестившіися при звукахъ звона, а дальше окрестныи пôдгôрскіи селяне въ сѣрыхъ жупанахъ, въ крысатыхъ соломяныхъ капелюхахъ и женьщины въ широкихъ бѣлыхъ кафтанахъ въ гранатовыхъ рихликахъ: всѣ спѣшатъ за роботою и дѣлами.

Но Евтимъ пристанулъ при инôмъ явленію. У стôпъ катедральной горы сидѣли четыре мужики, зашедшіи изъ далекихъ карпатскихъ углôвъ, сыны пôдбескидской землѣ, уроженцы дикой

ришей въ шарыхъ блюзахъ. Но капитанъ хотѣвшій привитати и заговорити Евтима, станулъ якъ врытый въ землю, коли узрѣлъ стоявшихъ пôдъ горою мужикôвъ.

»Гаймонъ!« проговорилъ въ кôнци мимовольно якбы удивленный тымъ явленіемъ капитанъ, которого жестъ лиця сдавался теперь быти якто обезъоруженымъ.

Но никто изъ мужикôвъ не рушился и не отвѣчалъ: лишь сивый старый великанъ выпрямился и немного презрительно поглядалъ на капитана. Послѣдній же ôтвернулся, якбы встыдался самъ свого замѣшательства, взялъ пôдъ рамя Евтима и въ коротцѣ вмѣшались всѣ въ ресторанѣ съ прочими гвардзистами. Якій же то тонъ? То тарабанъ, той республиканскій мотивъ, котрый не даетъ ржавѣти саблѣ, за котрымъ идется въ огонь, тамъ, где бы лишь было що сѣчи. И нервово почиваетъ рука сержанта на той саблѣ, уста доспѣвовуютъ послѣдніи слова марселезу, сникаютъ чаши вина, одна за другою... Не лишати-бъ жизнь закостенѣлою, но пространно, полно жити; неизъясныи тѣни откинены, а душа цѣлковито плыветъ въ вирѣ жизни...

И сержантъ розъогнился: ôнъ выпорожнялъ

одинъ покалъ за другимъ и съ розмаяченнымъ взоромъ пôднесъ стаканъ.

»Гвардія нехай жіетъ! пью полный на добро гвардіи!«

Саля потряслась. Урра понеслось по комнатахъ. Сержантъ выпилъ и кинулъ стаканъ о землю: рострѣскалъ ся стаканъ, розпрыслъ ся. Розôйшлись и мысли Евтима: лице женское миготѣло передъ его очима, съ чорными льоконами, розовое лице... а дальше бомбардація мѣста... барикады... кровь... и сновь все проходило, все минало...

* * *

На добро республиканскихъ идей роспочался данный гвардіею баль пôдъ проводомъ хорошой дамы Анны Рожицкой. Шаржа гвардіи явилась въ полнѣ и не одно дѣвичое сердце сильнѣйше бпло на видъ червоныхъ кокардъ у своихъ дансерôвъ. Мужчины носили ознаки народовыи, а дамы? Тіи всегда остали французскими и лишь въ тôмъ розличались ôтъ себе, що одна розплывалась въ исбраннôмъ ей свойственнôмъ аккордѣ перфюмовôмъ, другая тонула въ перфюмѣ мильфлеръ, третья въ Ирисъ — де — Флорансъ а

иная сновь въ мѣшанинѣ гистеричной пачули и улетливой гераніи.

По окôнченію контраданса повстала въ салѣ замѣшанина и незвычайный рухъ. Межи гостей вступилъ мужчина въ шкотскôмъ уборѣ, съ лякерованными холявами, въ англійскôмъ низкôмъ блестящôмъ шапокляку, съ пликою газетъ пôдъ рукою. Мигомъ розôйшлись письма по салѣ межи собранными; нервово розхопили ихъ члены гвардіи и такъ же нервово переглядали.

»Реакція горою!« говорилъ ставшій посередъ нихъ гôсть въ шкотскôмъ красистôмъ уборѣ, »Въ Парижи ростетъ наша справа: до національного комитету избранъ Тирсъ, Гюгъ и Бонапарте. На челѣ нашой емиграціи въ Парижи станулъ Блянкъ и Распель: сто тысячь людей потягнуло на пляцъ Бастилли; тысячи станули передъ парижскимъ народнымъ собраніемъ. Голосно прочиталъ президентъ Бланкъ петицію о возстановленіе польской републики.«

И шкотскій гôсть прочиталъ дальше манифестъ, принятый голоснымъ рукоплесканіемъ и голосилъ, що и въ Уграхъ реакція торжествуетъ, що Коссутъ вже пôлъ миліона арміи затягнулъ, що банкноты Коссутовскіи вже обѣгаютъ Угорщину, що наконецъ и наслѣдникъ

Іеляшица, Лямбергъ въ Пештѣ яко предатель замордованъ.

Котиліоновыи мысли пôйшли на другій плянъ, въ салю заточено боченки съ виномъ и роспочался звычайный цехъ. Но мужчина въ пестрôмъ жакетѣ тайно сносился съ Анною Рожицкою, послѣ еще съ кôлькома гвардзистами и въ коротцѣ опустилъ салю.

Въ ôтдаленнôй комнатѣ сидѣлъ Евтимъ. Ôнъ и не зналъ, що его глядаютъ женскіи очи, що въ салю войшла дамская стать, що она говорила до него сѣвши на козетцѣ и наполнила геліотропомъ воздухъ, що ôнъ обнималъ дамскій станъ и цѣловалъ дѣвичіи уста. Не памяталъ ôнъ тыхъ поцѣлуевъ, хоть жаркіи были; ôнъ плылъ теперь житьемъ, страстію безъ остановленія, якъ бѣжитъ на слѣпо скрôзъ волны корабль, поки не розобьется въ бѣгу о скалы.

Заледво оставила дамская стать салю, сѣлъ при сержантѣ одинъ изъ его товаришей.

»Добре, що тебе снаходжу тутъ« сказалъ ôнъ »я власне глядалъ за тобою: маю съ тобою поговорити о важнôмъ дѣлѣ.«

Евтимъ пôднесъ голову.

»Прости« продолжалъ товаришъ »но выслухай мене до кôнця; не осуджай; може тобѣ

странными покажутся мои слова, но я уже долшій часъ съ моими мыслями ношусь. Я говорю до тебе, бо вижу, що ты правый товаришъ и що ты... Но ты смотришь на мене такъ...«

»Говори лишь, я слухаю до кôнця« отвѣтилъ Евтимъ.

»Отже ты припоминаешь собѣ може той день, въ котрôмъ ты рано стоялъ пôдъ горою катедральною и розмавлялъ съ тыми мужиками, селянами. Я съ особенностію выражаюсь: селянами. И я ишолъ тогды съ капитаномъ и видѣлъ васъ... Я знаю ты добрый товаришъ а може и — неконечно доволенъ, не хочу казати несчастливый... но пôзнаю по тобѣ: ты розстроенъ якъ многіи изъ насъ. И я не маю той послѣдной меты, на котрой мôгбымъ опертись... Во мнѣ изъ якогось времени повстаетъ въ души переломъ. Думаешь, якіи мысли прійшли менѣ на видъ тыхъ селянъ, съ которыми ты стоялъ? Мысли, котрыи ôтъ давна во мнѣ родятся... Товаришу, мы не на нашой правой дорозѣ, но на бездорожью, мы не тутъ принадлежимъ... мы боремся, кровь льемъ... а за кого?«

»За кого? За свободу« ôтвѣтилъ сержантъ безъ намыслу.

»За свободу? А щожь она? Въ чемъ она со-

стоитъ? Мы носимъ въ нашихъ портфейляхъ Русса, но мы не поняли его. За нимъ идучи повинны мы гдеинде стати... мы нашою кровью не свободу, но найтяжше ярмо боронимъ...«

Евтимъ удивленъ поглядалъ на товариша.

»Мы за ярмо бьемся, що давитъ ôтъ вѣкôвъ цѣлыи масы народа; поглянь лишь тамъ на салю, кто они всѣ?«

»Кто? А но-жь, шляхта!« далъ Евтимъ въ отвѣтъ.

»Такъ: а знаешь, мы не зъ ихъ среди... И якъ же она, тая шляхта бьется за свободу, якъ славитъ и превозноситъ Русса, а на дѣлѣ гнететъ, угнетаетъ... а народъ стогнетъ пôдъ ярмомъ той неволѣ паньщизняной... Нѣтъ, мы не на правой пути, мы принадлежимъ тамъ, где той старый селянинъ принадлежитъ... Тамъ где нашъ народъ.«

»Народъ?« Евтимъ якбы затопленный въ мысляхъ смотрѣлъ въ свѣтло блестящого лампіона... ôнъ може глядалъ теперь, въ жизни пристани, на котрôй солодко мôгбы спочити по буряхъ...

Музыка загремѣла, поточились на ново ронда...

На престолѣ народной любви запалили незначительно духи отечественныи жаріющій пламенъ...

* * *

На слѣдующій день были въ мѣстѣ закрыты всѣ рукодѣльныи склады и заведенія; на улицахъ собиралась новая каста; громадками показывались рукодѣльники всякой бранжи, робôтники, ремѣсники, всѣ якбы получены въ одно тѣло. Они вели живыи розговоры, переходили изъ улицы на улицу и съ виднымъ нетерпѣніемъ ожидали назначенной годины. Ôтъ часу до часу являлся межи ними той же самъ мужчина въ шкотскôмъ жакетѣ и лякерованныхъ чоботахъ, договоривалъ имъ и ôтправлялся до другой группы. Потомъ вступилъ еще разъ въ сальоны Анны Рожицкой, и по долгомъ часѣ выйшолъ.

На старôй вежи мѣста выбила година.

Толпы робôтникôвъ и рукодѣльникôвъ почали посуватись на трактъ Ярославскій, где въ кôнци при одной ôтдаленной ôтъ мѣста шинковнѣ всѣ собрались и розсадовились. Наконецъ явился ожиданный ними предводитель, шкотскій мужчина, которого толпа привитала голосными восклицками. Ôнъ прочиталъ имъ манифестъ, въ горячôй промовѣ завзывалъ всѣхъ до вступленія въ новый союзъ всѣхъ польскихъ робôтникôвъ и рукодѣльникôвъ, котрый малбы принести услуги будущой республицѣ, а котрый завязался во Львовѣ и Краковѣ, обравши своимъ представителемъ Госляра.

И собранныи робôтники громадно затягнулись пôдъ прапоръ Госляра а послѣ взяли Гослярового емиссарія, шкотского мужчину и съ помпою несли на улицахъ мѣста, поки не прійшли передъ дôмъ Анны Рожицкой, пôдъ котрой ôкнами ôтбыли серенаду подôбну въ своей цѣлости до кряхканя крукôвъ. —

* * *

При чорной ранной кавѣ сидѣлъ по балевой ночи сержантъ Евтимъ въ своимъ фотелю. Наркотичный напой успокоивалъ и ôтсвѣжалъ. Не долго ждалъ Евтимъ, коли явился Шлойма съ усмѣхненнымъ лицемъ, радостнымъ жестомъ розмахиваючи сухими руками, якъ бы по овладѣнію цѣлого свѣта.

»Ай« началъ жидъ »панъ сержантъ такъ блѣдый! то по балю, такъ всѣ по-балю: на то средства сутъ; у мого братанка, тутъ, що маетъ етаблиссманъ сутъ острыи маринаты, которыи усмиряютъ и бôль головы и недоспалость... Але правда, панъ сержантъ и не бачатъ, що я готовый до дороги...«

»Значитъ?«

»Значитъ, и панъ сержантъ мусятъ выбиратися. Мазурскій вôзъ съ будою, що ѣдетъ съ

товарами на сянôцкій трактъ, чекаетъ тутъ на насъ передъ домомъ... Мусимъ сѣдати заразъ: ôтъ мого братанка я довѣдался за дальшіи тропы... (Тутъ жидъ оглянулся) Ôнъ, якъ кажутъ, заложилъ кондиторію, кавярню, въ однôмъ мѣсточку пôдъ Бескидами коло угорской границы, за Сяномъ. Но въ котрôмъ? О тôмъ довѣдаемся сновь на Сянѣ коло прому, ôтъ того сына рабинового, що держитъ въ Смеречнôмъ промъ на Сянѣ...«

Сержантъ собрался и пустился въ дорогу. Слабый румянецъ покрылъ его лице. Такъ палалъ коли то таинственный поломѣнь, зажженный славянскимъ божищемъ Кощеемъ, пламень мести, котрый николи не малъ угасати...

Пôлнôчній вѣтеръ вѣялъ по Карпатахъ; дощъ непрестанно хлюпоталъ а горы покрылись оловяными хмарами. На сянôцкôмъ трактѣ точилась поволи мазурская брыка накрыта полотняною будою и тягненна высокими худыми шкапами. Вôзъ точился въ болотѣ и калужахъ камеральной дороги а мазурскій повозчикъ въ синôй широкôй бундѣ, въ округлôй тканнôй шапцѣ, кидалъ слова огорченія. Много миль не было ніякой господы, ніякой австеріи. Пустый былъ трактъ, лишь мѣстцями корчѣ орябины и ста-

рыи поломанныи вербы указовали, що туды вела дорога.

И въ природѣ было ôтпечатанно и вытисненно бурное время послѣднихъ лѣтъ. И якихъ событій не былъ свидѣтелемъ той уголъ Карпатъ! Еще не затерты воспоминанія и наслѣдствія изъ памятного 1846 года, коли тоюжь самою дорогою машеровали повстанцы, косыньеры, где колись по дворахъ шумѣло веселое житье, а где по дни револьты слѣдовали руины по всѣмъ селамъ, застôй въ роботѣ и въ поступѣ заступленнôмъ теперь лунами пожарными и кровью...

Устала революція а за нею якъ упыръ другая пляга: голодъ понищившій всю житель... Опустѣли села, не видно у загородъ жизни, пусткою стоятъ соломяныи стрѣхи, зарослыи хвастами и мохомъ.

Такъ прійшолъ годъ 1848 съ новыми событіями. На граничныхъ верхахъ угорскихъ виднѣютъ вже шибеницы а по дорогахъ угорскихъ Карпатъ рядомъ стоятъ висѣлицы якъ злопамятный штафажъ: круки и галки уносятся стадами надъ полонинами. Узлы всякого порядка прорвались, жизнь безъ связанія настала. Переломъ слѣдовалъ въ природѣ и въ житью наро-

дôвъ. Ломилась ихъ доля на всѣхъ краяхъ Европы, якбы новая ера приспѣшала, новыи дороги отвирались, новый источникъ житья вытрыскалъ, щобы вывести людей изъ бездѣлія, которе механично управляло общею жизнью народôвъ...

Изъ головного тракту свернула брыка мазурска въ слѣдъ якой-то гôрской дороги. Понурою была природа карпатска. Невыразно рисовались въ дали холмы высокихъ кичаръ и стрешоръ. На поляхъ застеленныхъ дождженою мглою стояли где чобаны и бовгаре въ мокрыхъ одежахъ, накрыты соломяными пелеринами, що пасли угорскіи кайлы або стада овецъ на сухихъ дебряхъ. Тамъ поверталъ изъ мѣста гдеякій мужичокъ на малôй телѣзѣ тягненной волами а тамъ въ ущелью скалы палалъ огонь розложенъ кочующею цыганскою бандою.

Въ кôнци заблыстала струя Сяну якъ віющаяся лента. Но не спокôйно, не маестатично плынулъ теперь Сянъ; ôнъ шумѣлъ теперь, рвался, волны кидалъ, взбранный ôтъ гôрскихъ потокôвъ. Вже почало вечерѣти, темно стало. Пассажиры сойшли зъ брыки. Они были вже при промѣ. Надъ берегомъ стояла поломанная корчма, за которою протягалась скала надъ берегомъ

Сяну. На загородѣ ходили козы, становящіи цѣлый видимый добытокъ галицкихъ жидôвъ.

»Тутъ постоимъ« началъ Шлойма оглядаючись, »тутъ сынъ рабина изъ Городка; но вижу, що ледво и черезъ рѣку переберемся.«

»Идиже и пытай жида за него« говорилъ Евтимъ.

»За кого?« далъ ся чути въ близи шепотливый голосъ. Коло нихъ завертѣлся малый рудый жидъ съ повырыванною червоною бородою съ лицемъ засѣяннымъ жолтыми пѣгами, въ бѣлыхъ обдертыхъ пончохахъ и въ латаннôмъ халатѣ. То былъ Харонъ, котрый вправдѣ и людей высылалъ на засянскій свѣтъ, но бôльше еще перепущалъ контрабандованный угорскій бакунъ, подôльскіи крадженныи конѣ и заблукавшіися козы.

»Панъ сержантъ схочутъ певно черезъ промъ« говорилъ ôнъ (его голосъ былъ якбы пôдземный, якъ у колдуна), »то вже не нынѣ. Сянъ давно такій не былъ якъ нынѣ, рветъ небывало: дощъ ôтъ тыждня вже тутъ лѣетъ. Переночовати треба въ моей хатѣ. Вже тамъ естъ одинъ панъ, такожь чекаетъ на промъ, до мѣста хочетъ... то Больскій, кондиторникъ изъ нашого мѣста.«

»Кто?« закричалъ сержантъ съ такою силою, що рудый еврей якъ громомъ раженный сталъ недвижимъ. Но Евтимъ не чекалъ. Поломѣнь, котру идолъ Кощей запалилъ, вспыхнула.

Евтимъ вступилъ въ чорную комнату валящейся корчмы. На припѣчку горѣлъ огонь изъ смерекового рѣща. При тôмъ глинянôмъ коминку сидѣлъ гôрнякъ, пôдбескидецъ въ пасованныхъ, окопченныхъ и мокрыхъ панталонахъ и въ такôмже одожденнôмъ киптарѣ. Ôнъ согнувшись запѣкалъ въ огни люльку. Его такъ схпленная голова выглядала якъ копула покрыта стрѣховою сторчащею соломою: волосъ якъ рѣща спадалъ по его лици. Ôнъ приподнесъ очи. То былъ той же самъ рыбарскій мужикъ, що пôдъ горою катедральною стоялъ вразъ съ прочими гôрняками.

Евтимъ поступилъ дальше. Въ углѣ комнаты сидѣлъ на лавѣ мужчина закутанный въ гумовый плащъ, съ надѣтымъ на голову капюшономъ. Его уста были затиснены и указовали на рѣшительного человѣка.

»Евтимъ!« проговорилъ ôнъ побачивши ставшого передъ собою сержанта.

»Такъ, то я,« отвѣтилъ горячокровно Евтимъ »то я, и ты знаешь повôдъ, для котрого

стаю передъ тобою, знаешь причину, за для котрой я тягнулся въ таку дорогу, щобы тебе ôтнайти. Я не уложусь до спочиванія въ моимъ житью, поки не увижу кровь... То не дуель, нѣтъ то не зимная рукавиця... ты знаешь, що во мнѣ жарится... Кто ставалъ у косыньерôвъ и на барикадахъ и тою саблею якъ перомъ затиналъ, той уважалбы за непростимо, абы твоя кровь не полилась пôдъ тою самою саблею... абы...«

Больскій пôднеслъ ся флегматично изъ лавы; ôнъ скинулъ широкій гумовый плащъ, не сказалъ ни слова, лишь взялъ Евтима пôдъ рамя и выйшолъ съ нимъ изъ комнаты, ажь поки не пріостановились на скалѣ при самôмъ берегу Сяну. Тутъ ôнъ лишилъ рамя Евтима и сталъ противъ него.

»И я« сказалъ ôнъ спокôйно »не розлучаюсь съ моею саблею, она всюда менѣ товаришитъ. Кроваве нашое время, въ котрôмъ жіемъ, то не время биллярдôвъ, ни картъ... И мене не лякаетъ кровь, но противно ласкаетъ...«

На горизонтѣ далекихъ гôръ, неботычныхъ полонинъ блыскавицы не уставали; въ зигзакахъ спадали они въ паровы и ущелья гôръ, а ехо точилось надъ дикіи верхи съ стокротнымъ ôт-

гомономъ. Освѣчала часами блыскавиця брячащіи полыскующіи желѣза и мѣшалась съ червоностію крови... Кровь была то, кровь сержанта... Устали его силы, изнемощенъ ôтъ убытка крови упалъ онъ изъ береговой скалы въ шумящіи бурливыи волны Сяну.

Таинственно шумитъ бескидскій вѣтеръ, а межь яругами вода розбивается. На Сянôцкой землѣ точится Сянъ, вѣчно стремитъ, вѣчно непрестанно высылаетъ волны, а въ долинахъ межи горами почиваютъ села, молчатъ передъ розвязанною стихіею и поглядаютъ съ тревогою на опустошенія. —

Пройшла нôчь: минула и буря въ природѣ. Бременный воздухъ переломился; розступилась изъ своей тѣсноты природа, що жаждѣла розрыва, борьбы, уволенія ôтъ давлящихъ цѣпôвъ.

Ясно на небѣ. Легкій зефиръ обнимаетъ любовью полонины якъ любящій отецъ свои дѣти по бурѣ. Блекающіи стада овецъ наполнаютъ зеленыи спады гôръ а солнце покропляетъ теплыми искрами Карпатскую землю.

Проломилась буря и въ души Евтима. Поломѣнь Кощея, поломѣнь мести увязывалъ его душу, котора тягнулась до розôрванія тыхъ узôвъ, до усолодженія жажды, що демонично нею овла-

дѣла. Угаслъ вже той поломѣнь Кощея, но не угасла страсть партизантска, не уступила тая хоробливая страсть, що губила его спокôй...

II.

Изъ старой гонтами по стѣнахъ и даху оббитой церкви въ Смеречнôмъ ступалъ по раннôй ôтправѣ парохъ того же села Дуновичъ и переходилъ помежи узкіи прогоны, котрыи провадили помежь хаты до плебаніи. Ôнъ носилъ неôтмѣнно плащъ крою семинарицкого, изъ черного сукна пôдъ шіею упятый а на дôлъ до колѣнъ чимъ разъ розширяющійся. Неôтступный былъ такожь (еще изъ временъ семинарскихъ датующійся) цилиндеръ, въ доли узкій до горы же сновъ розширяющійся. До того были его чоботы угорской роботы, съ паленными холявами, а пôдъ шіею увязанна хустка фіолетовой краски.

Парохъ Дуновичъ былъ высокій, худощавый, на лици отмѣтены были два сморщки по обоимъ сторонамъ устъ, въ котрыхъ сложенію сливался и гуморъ николи не увядающій съ малою примѣшкою добродушной сатиры, а при гуморѣ ôтпечатлѣніе капелянской нужды и бѣдствій.

»А що?« пыталъ ôнъ, вступивши въ плебанію, поклавши цилиндеръ и натягаючи домашнюю чемеру »якъ съ нимъ?«

»Пробудился: но всегда маячитъ: говоритъ несрозумѣлыи слова: его первое слово было ‚народъ'.«

Тіи слова сказала Сидонія, дочь пароха, дѣва въ розцвѣтѣ и въ полнотѣ природной прелести. Ѳна яснѣла якъ Лада въ золотыи колосы увѣнчанна; ясно-золотистый ей волосъ уложенный въ шиньонъ локонный соперничалъ съ бѣлостію лица, черезъ котру пробивала розова кровь якъ пурпура черезъ срѣбрнотканную заслону. Синое карпатское небо ôтъобразилось въ ей очахъ; якъ чарующая нôчь смотрѣла она, а за тою синою нескôнченною глубиною жарѣлъ чаръ и полнота чувствъ.

Ей бюфяста сукня изъ попелину въ вкусѣ пестрого рококо надавала ей видъ пестрой стрекозы, що улѣтаетъ скользячи по волнахъ жизненныхъ.

Сидонія была оздобою карпатскихъ гôръ. На зеленôмъ тлѣ урочищъ странно ôтбивали ей серебристыи кудры. А вѣрное дитя была она тыхъ урочищъ: взросла межи ними, сжилась и не оставляла ихъ безъ любезнпчанія. Въ свѣ-

жнхъ весеннихъ дняхъ и въ горячихъ лѣтнихъ ступала помежь засѣвы жолтого жита, помежь зеленыи луки, сребрноволосая Сидонія; спѣшитъ въ сусѣдній гай. А дальше черезъ кичару надъ береги Сяну и тутъ же любезничаніе съ чарующою природою. А въ паровѣ гôрскôмъ цыганская ватра; пôдходитъ до дѣвы цыганочка, одна изъ тыхъ романичель, що якъ метеоры перелѣтаютъ изъ однихъ гôръ въ другіи. Дѣва пытаетъ о судьбу поневольно. Въ дѣвичьомъ сердци всегда бьетъ желаніе роскрыти будучнôсть. А по ворожбѣ усмѣхъ и вже дѣва спѣшитъ дальше черезъ луги, пахущіи луки, до ôтцевского дому, где блекающая череда овецъ вертаетъ изъ пасовиска и где старыи браклены и вербы оточающіи дôмъ такъ довѣрчиво манятъ.

Затымъ вже и готова найтичанка або угорскій кабріолетъ и сребрноволосая княжна ѣдетъ до сосѣдки, брюнетной Олявки; наговорилось, насмѣялось, нашепталось и нашутилось много съ подругою ôтъ сердця и по поцѣлуяхъ розстаются обѣ подруги на верху пращальнôмъ...

Она была нѣжна а свѣжôсть и краса замѣтна была въ ей цѣлôмъ явленію. Незначная тужливôсть овѣвала ей усточка а въ души ôтби-

валось ехо скорбящихъ карпатскихъ пѣсней и мелодій.

На вопросъ пароха Дуновича она отвѣчала съ тою заботливостію и теплотою, на видъ которой мы чуемъ, що женьщина есть всѣмъ въ нашôмъ житью, що безъ ней жизнь былабы сухою пустинею, а мы самы среди жизненной бурѣ безъ ніякого покрова.

»Спасенъ будетъ« говорилъ на то парохъ »еще время: въ саму пору изъ волнъ выратованъ.«

Они вôйшли въ другую комнату. Тамъ спалъ мужчина, котрого блѣдое лице ôтбивало ôтъ чорного уса и републиканки. У ложа сидѣлъ мужикъ, старецъ о сивыхъ долгихъ волосяхъ, въ чиповѣ.

»А що Гаймонъ?« поспыталъ парохъ старика.

»Палитъ, палитъ« говорилъ Гаймонъ »звѣстно кровь: темно стало, и не диво а еще попасти въ воду... Тямлю и я, похожалъ и я въ боевый огонь молодыми лѣтами: ишлось байдуже, ба, чи байдуже! Такъ смѣло и на медведя никто не пôйдетъ. За медведемъ ити, то якось стягне такъ чоловѣкомъ, ажь морозъ пôйдетъ по тѣлѣ, а на кулю то ишло ся,

якъ въ дымъ! Хоть кулѣ бьютъ а чоловѣка ничь за сердце не стискаетъ, вôльно якось тогды души стаетъ, хоть смерть за плечима. Въ бою не лячно, а зайдетъ же куля... а, то палитъ, палитъ...«

Уста Евтима тихо черезъ сонъ шептали слова марсиліанки, однакъ слова »любовь свята отечества...« звучали якъ мольбы наверненного сына.

Ôнъ отворилъ очи; его взоръ блудилъ неопредѣленно. Но въ тôмъ пристали его очи якъ прикованныи при видѣ ясного серафимка, колосыстой Лады; ôнъ смотрѣлъ и любезничалъ, якъ дитя на видъ свѣтилка. Синôсть неба карпатского ôтбита въ очахъ Сидоніи впилась теперь бальсамомъ въ хорую душу Евтима. — Ôнъ сновь заспалъ.

Солодкое состояніе въ горячôй лихорадцѣ. Не желаетъ сержантъ сбудитись изъ того блаженного, безпритомного сна; солодкій горячій дрощъ перебѣгаетъ по тѣлѣ. Ничого не знается о свѣтѣ; на удаленныхъ тропинкахъ ступаетъ душа, якбы ôторвалась ôтъ землѣ; ніякое стремленіе, ніяка жажда не давитъ груди. Душа плынетъ роскошію безъ перепонъ...

Минали дни, а съ ними и Евтимъ верталъ

изъ успенія горячкового. Онъ часто прибуджался, часто устромлялъ взôръ въ дѣвичое лице... А коли ночею лишь каганецъ слабо свѣтилъ въ комнатѣ, тогды ôнъ пробудившись видѣлъ у ложа стать плечистого, схиленного старика, мужика, котрого тѣнь ôтъ каганця въ великихъ зарисахъ падала на стѣну.

* * *

Тыждень проминулъ. Въ домѣ пароха въ Смеречнôмъ смѣнилось немного. Вѣсть прійшла ôтъ замужной, старшой дочери пароха, що ей мужъ въ дорозѣ до Мукачева на Уграхъ ôтъ мадярской револьтующей шайки, котора смѣнилась въ розбôйничую банду и перетягала лѣсы, пôйманый и безъ всякого пардону повѣшеный побôльшилъ рядъ шибеницъ стоящихъ на роздорожьяхъ. Жена попала въ слабôсть и Сидонія немедленно мусѣла ôтправитись, щобъ быти помочною сестрѣ.

Старый парохъ Дуновичъ же оказовалъ теперь незвычайную рухливость и занятость. Ôнъ частѣйше чимъ передъ тымъ натягалъ святочную капоту, убиралъ новыи чоботы угневской роботы, запрягалъ свои подôльскіи, еще посажныи конѣ и выѣзжалъ где то по сусѣдствахъ.

По поворотѣ лице его сіяло, ôнъ затиралъ руки и былъ занятъ всегда якою-то мыслею.

Евтимъ выздоровѣлъ вже на стôлько, що мôгъ выходити. Но ôнъ замѣтилъ, що ôтъ часу, якъ ôнъ всталъ изъ ложа, не было бôльше на плебаніи того старого мужика, котрый ночею сидѣлъ при немъ. Ему припоминалось его лице и его величная стать. Тую стать видѣлъ ôнъ вже гдето, той самъ не много гордый и глубокій взглядъ очей, той самъ чиповъ и темно-понсовыи гайдаверы. Вонь, припоминающая на чаджу остала конечно въ его памяти...

Погôдного дня выйшолъ Евтимъ стежками на положистыи кичары. Ôнъ проходилъ мимо поля, на котрôмъ сотки косарей стинали колосыстое море збôжа. Межи ними увивались съ нагайками гайдуки двôрскіи и мандаторъ. Но Евтима застановилъ иный видъ.

У журчащей изъ землѣ керницѣ коло поля сидѣлъ согнувшійся надъ водою робôтникъ селянинъ, змивалъ зъ лиця кровь и прикладалъ сырую землю на тварь.

»Вамъ що?« пыталъ Евтимъ.

Но селянинъ и не обернулся, лишь флегматично вытягнулъ руку за свѣжою глиною и об-

мивалъ дальше кровь. Такіи вже были они всѣ, тіи паньщизнянныи пôдданцы.

»Кровь? Зъ ôтки?« пыталъ дальше Евтимъ.

»Ба!« отвѣтилъ мужикъ не обертаючись »не бôйтесь кобы нагайка, а кровь возьмется уже, хоть бы где!«

И пôдъ нагайкою не опущаетъ карпатского мужика гуморъ. Но Евтимъ не потребовалъ вже бôльше истолкованія: ôнъ видѣлъ, якъ на поли економъ ту саму свою повиннôсть сполнялъ съ другимъ мужикомъ, вывываючи дротянною гачистою нагайкою.

»То двôрское поле?« пыталъ Евтимъ.

»Двôрское и божье.«

»А выжь на то ничо?«

Мужикъ поглянулъ удивленъ на Евтима.

»Або що? Паньщина, то паньщина! Чей перебудемъ, то не першина у насъ.»

Съ молчаніемъ пустился дальше Евтимъ. Передъ нимъ станулъ цѣлый Руссо. Ôнъ первый разъ попалъ въ свѣтъ, въ котрôмъ ôткрылось ему немаскованное состояніе дѣлъ. И мимовольно свернулся ôнъ въ сторону двора, который былъ правдивымъ тираномъ народа.

Вже хотѣлъ Евтимъ забратись до ôтвороту, коли почулъ изъ за горы звуки пѣсни. Ôнъ

выйшолъ на верхъ горы. Новый пейсажъ представился его очамъ. Тутъ вся зелень сникла изъ землѣ. Сухіи каменистыи, жолтыи скалы розтягались передъ нимъ. Сянъ крутился помежь скалы а на убочу стояла на однôй пустцѣ хатина, яку ставляютъ на лѣто чобаны, ôвчарѣ и котору они называютъ комарникомъ. Она сложена была изъ чорныхъ окопченныхъ лигарôвъ, накрыта дѣравымъ лубомъ изъ смереки и корою изъ липъ; плôтъ изъ драницъ огороджалъ хатину а у входа стояла малая телѣга о двохъ колесахъ.

Пôдъ плотомъ надъ берегомъ Сяну лежалъ хлопакъ около десяти лѣтъ, обнявши за шію кудлатого ôвчарского пса. Той хлопакъ спѣвалъ пѣснь: а спѣвалъ ю такъ, якъ лишь спѣваютъ уроженцы гôръ, изъ полной груди, сильнымъ звонкимъ голосомъ, якъ бы всѣ горы мали стрепенутись и срôвнатись пôдъ силою той пѣсни.

»Нѣтъ« подумалъ Евтимъ »такая пѣснь муситъ зъ свобôдной груди плысти, не зъ неволи.«

Но измѣнился тонъ; прорвалась нута урывчиво а слѣдовала тужливая, молящая мелодія, мягкая плачущая пѣснь, котора часто повтарялась: »Ой тамъ въ гаю цвитетъ зѣлья, и вянѣтъ во гаю, — Маю батька, маю неньку, а

волѣ не маю...« Дивное чувство овладѣло Евтимомъ. Тая мелодія? Въ колыбели своей чулъ ôнъ той напѣвъ, лице якоето согнуто надъ колыбелею спѣвало тую тужливую мелодію... •Все забывается, но пѣснь колыбельна яко солодкое воспоминаніе неизгладима, безсмертно жіетъ въ нашей памяти цѣлую нашую жизнь...

Хлопакъ вскочилъ; ôнъ побѣгъ съ псомъ на вершокъ горы, станулъ тамъ розложивши рамена якъ побѣдитель на мурахъ мѣста и теперь ôтозвалась давна рубающа пѣснь: »Въ два голосы заспѣваю, — два голосы маю, — Одинъ пущу по дубровѣ, — другій по Дунаю. — Одинъ пущу по дубровѣ, — дѣвчины шукати, — Другій пущу по Дунаю, — волѣ си глядати...«

Ôнъ сникъ. Евтимъ приближился до хаты. Его тягнуло щото. Отворивши скрипящую дверь войшолъ ôнъ до середины. Вонь чаджи ударила и припомнула ему на старика. Свѣтло падало лишь черезъ дѣры ликового даху. На серединѣ избы высѣлъ котелъ, пôдъ котрымъ жарилось угля.

Въ кутѣ сидѣла невѣста. По ей поораннôмъ лици видно было терпѣніе и сближающуюся старость: но остали ознаки давной дѣвичьей

красы. Она сидѣла неподвижно сложивши руки. Ей очи запали, но видно было, що колись плѣняли они молодецкіи сердця.

Первый взглядъ Евтима упалъ на тую женьщину. Послѣдняя узрѣвши вступившого гостя задрожала, ей лице покрылось блѣдостію а послѣ червоностію. Она пôднеслась, упала безсильно а потомъ свернулась въ другую сторону комнаты и якбы глядаючи схороненія сближилась до сѣдящого тамъ мужика.

»Гаймонъ!« сказала она тревожно до него.

»Ай Явдоха, смотри, нашъ панъ вже и здоровъ, отъ здоровъ: хлалити Господа и слава Святому Николаю.«

Женьщина тымчасомъ спѣшно въ розстроенію удалилась.

»Скажѣтъ« пыталъ Евтимъ усѣвши »вы называетесь дѣйстно Гаймонъ?«

»Атъ! придали имя« ôтвѣчалъ старый мужикъ »имя придали, такъ назвали, то ничо и не сдѣлаешь. Такъ вже у насъ водится: у насъ по свому называютъ якъ захочутъ.«

»Вы тутъ живете?«

»Тутъ« (Гаймонъ вынялъ изъ угля люльку).

»Якже: такъ нужденно.«

»Ба, але свобôдно! Уже то такъ: ѣджь хоть-

бы самыи крамили, пій самую лишь жентицю и якось жіется, абы лишь на свободѣ.«

Евтимъ утиралъ горячое чоло.

»Кто спасъ мене изъ воды« пыталъ ôнъ »скажѣтъ, бо вы — пригадую собѣ, сидѣли ночею при мнѣ. Лишь двѣ постати остали менѣ въ памяти изъ того часу: вы и еще то кто... вже не помню...

»А...« шутилъ Гаймонъ, стягнувши бровою и смѣючись съ пôднесеннымъ усомъ »еще ктось! якъ княгиня ясноволосая... якъ уточка... а що? Пождѣтъ же, розскажу вамъ небылицю: (въ немъ теперь пробивалъ типъ давного чобана) небылицю розскажу, просто для васъ. Лишь слухайте до кôнця. Жилъ разъ богатый князь. Раемъ ему жизнь, жена красавиця якъ горличка: калиновыи уста, очи теренъ, любовь огень. Но що? Дѣточокъ не было. Сумуетъ князь, сумуетъ и княгиня. Прійшолъ князю часъ выѣзжати въ край. Плачетъ калина, жена бѣлявина, а князь ей кажетъ: бѣлыхъ ручокъ не ломай, чорныхъ очокъ не стирай, не порубаютъ мене, не посѣчутъ а медомъ напоятъ. Ѣдетъ князь — спекота велика. При керницѣ стаетъ, воду пьетъ. А чаши бачь не взялъ. Таки прижился и пьетъ. Коли вставати, а его за его

долгую должезную бороду якась сила въ керинцѣ держитъ. Смотритъ въ воду, а зъ воды вызираетъ чарôвникъ пôдземный: очи у него зелены якъ папороть, самъ же смѣется якъ заѣдливый лисъ. »Чого напосѣлся?« пытаетъ князь »пусти«. — »Впередъ« каже чарôвникъ »забожись: менѣ припадетъ тое изъ твого дому, о чемъ ты не знаешь.« — Бери, кажетъ князь, а самъ подумалъ »тобъ то и было, о чемъ бы я не зналъ!« — Вертаетъ кназь до своей палаты, а тамъ витаетъ его жена не сама — но держитъ на рукахъ сына малого и цѣлуетъ. Посоловѣлъ князь, не тѣшитись ему тымъ сыномъ, чарôвнику запродалъ.«

»Но сынъ вырôсъ: бравый молодецъ сталъ изъ него. Не майте журбы батьку, кажетъ сынъ, уже я справлюсь съ тымъ чарôвникомъ. Осѣдлалъ коня и выѣхалъ; ѣдетъ, ажь тутъ и озеро. На озерѣ дватсять уточокъ сребрныхъ такихъ, лишь миготятъ на солнци, а на берегу дватсятъ хустъ бѣлыхъ. Взялъ кнажевичъ одну хусту и укрылся въ гай. Уточки поплюскотѣли, выйшли на берегъ, натягнули хусты и отъ — изъ кождой стала красавиця и одна за другою улетала. Лишь одна уточка зôстала. А княжевичу жаль ей стало, подалъ ей хусту. Тутъ же коло него

и стала дѣвиця красавиця, якой еще не видалъ... Княжевичу дивно стало на души.«

»Еще разъ давно зимою сокола убилъ стрѣлою; кровь сокола червона упала каплями на бѣлый снѣгъ. Тогды и подумалъ княжевичъ: кобы менѣ жена така бѣла якъ той снѣгъ, а червона на устахъ якъ тая кровь. Жену-бъ таку любилъ, цѣловалъ. Такъ колись подумалъ а теперь видитъ передъ собою такую красавицю. »Я наймолодшая дочка чарôвника пôдземного« кажетъ до него красавиця: »ôнъ уже чекаетъ на тебе и лютится, но не бôйсь, я раду тобѣ дамъ перебыти всѣ заклады.« Приходятъ они въ край чарôвника. А Чарôвникъ лютый. Каже до княжевича: »Отъ диви тутъ моихъ двацятъ дочокъ, всѣ они око въ око подôбны, всѣ якъ одна. Ôтгадай, котра изъ нихъ наймолодша. Не ôтгадаешь, голова не твоя!« Переглянулъ княжевичъ разъ, не утнетъ, всѣ якъ одна капля воды. Другій разъ а за третимъ смотритъ, а на однôй изъ нихъ лице бѣлѣйше снѣга; на щечинкахъ краска роскотилась якъ кровь-молоко. А! такая краска лишь у ней: у другихъ нема. (Знай, другіи еще и не знали за любовь.) »Отъ дочь твоя наймолодша« кажетъ княжевичъ. »Вражій же ты сынъ« хитаетъ головою чарôвникъ

»Голова твоя: вертай на землю: а еще, що хочешь, того и забажай а дôстанешь...« И щожь бы бойкому княжевичу забажати якъ не того личика, що снѣгъ съ кровью, що молоко а кровь... То то и цѣловалъ же ôнъ его... Отъ, и моя небылиця: а що?« продолжалъ Гаймонъ »кто другій вамъ застрягъ въ памяти? Чи не уточка тая сребрнокрылая? Съ срѣбрными косами?«

Гаймонъ смѣялся зъ укоса и поглядалъ на Евтима прикладаючи рѣща до угля. Но ледво скôнчилъ, коли передъ хатою дали чутись крики и гаморъ. Они выйшли на обору. Тутъ молодый хлопакъ, чобаникъ боролся на силу съ якимто панкомъ, по которого костюмѣ и нагайцѣ въ руцѣ пôзнати мандатора. Малый чобаникъ присталъ до мандатора, якъ Давидъ до Голіата.

»Трофимко!« крикнулъ Гаймонъ громовымъ голосомъ.

Трофимко пустилъ мандатора и стрѣпуючи зъ себе панское ничо, станулъ широко и показалъ рукою на мандатаря.

»Явдоху« говорилъ ôнъ »нагаемъ побиралъ; нагаемъ не штука, а прійшлось на силу, ану вражій сынъ легкій якъ перо.

»На паньщину« вскричалъ мандаторъ, пѣнившійся ôтъ злости »всѣ, сейчасъ на поле«.

Гаймонъ выпрямился. Теперь на лици его пробивалъ спокôй и овладѣніе собою, но разомъ и якаято частина гордого самосознанія.

»На паньщину?« промовилъ ôнъ »А! ты новый мандаторъ! Не диво, що ты зайшолъ на мою обору. Ты незнаешь, кто я; ну, иди и спытай ся твого пана, кто такій Гаймонъ и що съ нимъ за дѣло, а не прійдешь тутъ другій разъ. А теперь тобѣ ніякое дѣло до моей загороды.«

»Хамъ! окропный хамъ!«

Мандаторъ пѣнился ôтъ злости и удивленія: ему не приходилось еще чути такихъ слôвъ. Ôнъ лишь затискаючи въ руцѣ нагайку спѣшно удалился.

Гаймонъ похилилъ голову. Ôнъ началъ запрягати до телѣги коня и вынесъ анталокъ. (Ôнъ ѣздилъ именно своею телѣгою ôтъ часу до часу за границю въ Мукачево, Берегсасы, Уйгель и купчилъ виномъ.)

Но зачимъ ôнъ зôбрался, явились двôрскіи посѣпаки, связали Гаймона и Явдоху и потягнули въ двôръ. Гаймонъ не произнесъ ни слова; ôнъ лишь мрачно водилъ очима. Но Явдоха середъ плачу не ôтводила очей ôтъ Евтима, якбы не могла надивитись досыть на него и якбы боя-

лась, щобъ не розлучитись на всегда съ тымъ видомъ.

Розогненъ пустился Евтимъ черезъ поля; ôнъ не глядалъ стежки, ôнъ ишолъ на произволъ и бôльше пущался въ дебри якъ въ гладкіи поля. Въ кôнци ôнъ пристанулъ; ôнъ былъ при камеральной дорозѣ, що вела на Угры.

Изъ дороги билъ тарабанъ. На Угры переходили охотники рекрутовавшіися изъ гвардіи, щобы стати тамъ пôдъ прапоръ Высоцкого, который съ Коссутомъ и Гергеёмъ прошибалъ угорскіи пуссты: тожь и его марсиліанка тамъ звучитъ, давная пѣстунка, що неразъ улюляла его до огненной сѣчи. Но не вѣрна то была пѣстунка, не питомая, иная пѣснь звенѣла надъ его колыбелею, иное солодкое люлю уносилось надъ его дѣтствомъ.

»О я глупецъ« говорилъ ôнъ »и я за нихъ боролся, за нихъ кровь проливалъ, за тиранôвъ. Но я не зналъ. Новая картина мнѣ ôткрылась. Та сама фана либерты, котору тамъ горою несутъ, тутъ на долинѣ сдоптана, уничтожена... А еще... що тягнетъ мене до тыхъ людей?... до того Гаймона... Где моя...?«

Ôнъ не докôнчилъ: изъ дороги почулъ ôнъ свое имя. Гвардія давно вже перейшла, а на

трактѣ пристанула найтичанка пароха Дуновича.

»Ходѣтъ« говорилъ изъ брычки Дуновичъ »ай, где то не можна васъ здыбати! шукалъ за вами и знайти не мôгъ; ходѣтъ скоро на брычку.«

Парохъ незвычайно нынѣ былъ по праздничному приодѣтъ; чемера нова, цилиндеръ свѣтилъ до солнця а въ чоботахъ ликовалъ угневскій цехъ.

»Тутъ, коло мене сѣдайте« продолжалъ торопливо парохъ »що вамъ? що такъ блѣдыи вы? правда, было не выходити еще, ваша горячка еще не совсемъ уложилась. — Но добре, що васъ снаходжу; ѣду власне до нашого мѣста окружного. Маемъ тамъ нынѣ зъѣздъ; въ первыхъ будетъ поговорка о нашихъ народныхъ дѣлахъ а потомъ по обычаю праздничное. Отъ, щось такого и для васъ принадно; вы молоды, а дамы тамъ будутъ, самыи перлы карпатскіи... Но и другое дѣло. Для ôтчины треба щось сдѣлати. По правдѣ мы спали до теперь, но теперь иначе пôйдетъ. Вѣсти важныи идутъ зъ Вѣдня, кажу, важныи вѣсти. Будетъ якійто переломъ; академики и нарôдъ обступаютъ тамъ соймъ... щось и у насъ треба сдѣлати для народа.«

»Такъ, для народа« отвѣчалъ Евтимъ »лишь для народа... Не моя вина была до теперь, що я его не зналъ... Въ моей молодости былъ я выхованъ черезъ якогось старого ветерана Наполеонисту во Львовѣ... Якъ я до него прійшолъ, того не знаю, но моимъ ôтцемъ ôнъ не былъ... Ôнъ померъ и я осталъ самъ одинокъ на свѣтѣ. Я такъ на слѣпо кинулся въ тогдашній шалъ: порванъ былъ я струею, где лишь побачилъ я фану, где почулъ тарабанъ, тамъ тягнулъ... черезъ то и выросла у мене якась страсть партизантска, за котрою я слѣпо ишолъ... котра давитъ мене, чепилась якъ недопырь крови... и нищитъ мене. Николи не хочетъ она уложитись... А еще, такъ гôрько я до теперь ошибался...«

Парохъ съ удивленіемъ поглядалъ на Евтима. Въ первый разъ чулъ ôнъ такіи слова ôтъ него.

»Не удивляйтесь« толковалъ Евтимъ »но я самъ на свѣтѣ; передъ никѣмъ не могу изъявити, що во мнѣ происходитъ«.

»Спокôйно, лишь спокôйно« уговоривалъ парохъ »дѣло муситъ быти съ спокоемъ получено: горяча нервовôсть николи не доведетъ до цѣли. Богъ вже колись высвободитъ нашъ народъ ôтъ паньщизняного ярма и мы повинны дѣлати,

але — правою дорогою. А цѣль? Опертись лишь на народъ, а тогды естъ и цѣль. Свѣтло ему принести, то наша повинность. А що до вашей страсти револьтовой, то она не естъ ничѣмъ инымъ, якъ часткою той епидеміи, що грасуетъ теперь по цѣлôй Европѣ. Въ воздусѣ цѣлой Европы теперь владѣетъ дѣйстная револьтовая джума, котра всѣхъ достигаетъ... Вы мусите излѣчитись. До свободы стремится правою дорогою.«

Найтичанка сближалась до мѣста. Здалека виднѣла уже церковь, що стояла на горбку.

»Еще одно« говорилъ Евтимъ, якбы собѣ пригадовалъ »не могу позбытись его образу: скажѣтъ, кто той Гаймонъ? Не сидѣлъ ли ôнъ при моимъ ложи? а до того, кто выдобылъ мене изъ волнъ Сяну, того до теперь не знаю.«

»Гаймонъ? Добре, розскажу вамъ.« Въ рукахъ Дуновича забрязчало вѣко ôтъ табатіеры. »Той Гаймонъ то незвычайный человѣкъ: мужикъ, якого я въ долгôмъ моимъ служенію не подыбовалъ. Има Гаймонъ походитъ ôтъ мене; я придалъ ему тое прозвище, а оно якъ кожде прозвище того рода скоро принялось у людей. Его никто инакше не называетъ, лишь Гаймономъ. А назвалъ я его такъ, бо ôнъ своею ми-

нувшостію припоминаетъ на того извѣстного Гаймона изъ Дордоны и его дѣтей, котрыи долгу борьбу вели. Его всѣхъ предкôвъ можнабъ назвати — дѣтьми Гаймона. — Якъ знаете, Смеречне естъ паньщизняною доменою. Всѣ пôдлежатъ паньщинѣ — лишь одинъ Гаймонъ и его дѣти нѣтъ. То одна родина, котора совсемъ свобôдна ôтъ паньщизняного ярма.«

»Но зачимъ до того прійшло, переплатилось не однимъ. Ôнъ маетъ, якъ и вы може замѣтили вже, великое сознаніе свободы и любовь до ней, явленіе, которе не у кождого мужика встрѣчается. Невôльничества тиранского ôнъ не сноситъ, но ôнъ на стôлько честолюбивый, що держится всегда правой дороги... Тое самосознаніе естъ у него свойствомъ родовымъ; ôнъ наслѣдилъ его ôтъ прадѣдôвъ, а и его дѣти такими будутъ. А треба сказати, що его предки всѣ еще были пôдданными, всѣ робили паньщину; но у нихъ было то особенно, що всегда ставали въ противности до двора до дѣдича. Паранюки (такъ они звались) всегда вели борьбу съ дворомъ. Но яку? Родина Паранюкôвъ была колись заможна въ смыслѣ паньщизнянôмъ. Но прорвалось.«

»Одного разу прадѣдь Гаймона не мôгъ стер-

пѣти виду тыхъ тиранскихъ окропностей, якихъ дѣдичъ допускался на людяхъ. Коли именно гайдуки якогось старого сивого мужика, що просилъ о милостиню, на приказъ дѣдича сѣкли нагайками яко заволоку на панскôй оборѣ, Паранюкъ не повздержался, щобъ не освободити старика. И ôнъ просто одного гайдука кинулъ на землю, другого заглушилъ ударомъ а третього таки взялъ и кинулъ якъ перомъ за высокій плôтъ. (Треба знати, Паранюки всѣ ôтзначаются бôльшою силою.) За то дѣдичъ зъ мести ôтнялъ ему половину его добра а его сына пôслалъ въ баталіоны, где той и погибъ. Въ кôнци и на самôмъ Паранюку помстился. Дѣдичцѣ захотѣлось разъ, щобъ той фаётонъ, въ котрôмъ она ѣхала въ мѣсто, тягнулъ старый Паранюкъ. Въ тôмъ чинѣ ôнъ и умеръ.«

»Но то памяталъ оставшійся сынъ Паранюка. Ôнъ ишолъ еще на паньщину, но коли разъ панъ бременную женьщину на полю обкладалъ нагайками, попалъ Паранюкъ въ такій гнѣвъ, що хопивши пана, потрясъ нимъ такъ сильно, що тойже стратилъ ôтъ того часу мову, онѣмѣлъ. Не зналъ Паранюкъ въ гнѣвѣ, що съ паномъ почати, то лишь и потрясъ нимъ, бо

сновь правотитись тогды-то была иронія! Нигде мужикъ не снайшолъ справедливости.«

»Вернувши до дому Паранюкъ уже надѣялся, що по него прійдутъ двôрскіи посѣпаки. Ôнъ на то приготовался. Ôнъ станулъ съ бучиною въ дверехъ и никто изъ гайдукôвъ не смѣлъ приступити; валилъ первого, котрый лишь сближался. Прійшло и бôльше службы двôрской, но ничо не помогло. Они взялись тогды на способъ. Пôдпалили на четырехъ углахъ хату. Но Паранюкъ — не пôддался. Сгорѣлъ въ пламенахъ, а не выйшолъ.«

»Теперѣшній Гаймонъ, его сынъ, малъ тогды коло тридсяти лѣтъ. Вы теперь пôймете, якъ ôнъ ôтносится до двора. Свого батька видѣти въ поломѣняхъ! Досыть! — Ôнъ не малъ теперь ни хаты, ни поля. — Взялъ бпгаръ, ôвчарскій костуръ и пустился изъ села. Панъ хотѣлъ силою взяти его въ тяжку службу. ‚Голя!‘ сказалъ Гаймонъ ‚Сава Паранюкъ не будеть бôльше служити убійци свого батька.‘ И ôнъ пôйшолъ на полонины, сталъ чобаномъ, пасъ ôвцѣ.«

»Но тутъ случилось щось, що важнымъ было на цѣлое его житье. Умирающій дѣдичъ малъ видѣніе, що сова выколювала му очи, а зъ совы сдѣлался гробарь и закопывалъ его живого въ

яму, а за гробаремъ огонь горѣлъ, въ огни чоловѣкъ... старый Паранюкъ. Дѣдичъ по такôмъ видѣнію прикликалъ свого сына, теперѣшного нашого пана и одно наказалъ ему передъ скономъ, — абы въ житью того не сломилъ; именно, абы Гаймона оставилъ совсемъ на свободѣ, щобъ николи не тикался ни его, ни его загороды, ни дѣтей...«

»Ôтъ того часу нашъ дѣдичъ зъ далека держится ôтъ Гаймона. Длятого отъ Гаймонъ и свобôдный ôтъ паньщины. Ôнъ вже теперь не чобанъ; покинулъ полонины, купилъ коня и купечничаетъ виномъ, за котрымъ ôтъ часу до часу на Угры ôтправляется.«

»Гаймонъ то душа добра, якой я не зналъ. За него кто нибудь изъ села житье бы далъ. Отъ и при васъ ночью сидѣлъ. Но кто васъ изъ воды уратовалъ? Послухайтежь еще за его дѣтей.«

»Его дѣти тоже въ своимъ особеннôмъ родѣ. Одинъ Яковъ горбатый малый, но то — що ôнъ якто опанованъ суевѣріемъ; суевѣріе влечется за нимъ якъ тѣнь. Оно словно нищитъ его. Ôнъ всегда якто молчаливый, глядаетъ самоты и вѣчно занятъ якимись духами. Ôнъ естъ и хмарникомъ въ селѣ и побудовалъ собѣ

хатчипу, комарникъ тамъ на пусткахъ (вы може и видѣли).«

»Другій его сынъ совсемъ иный: то рыбарь и промовикъ, що провадитъ промъ на Сянѣ. Человѣкъ веселый шутливый, правдивый сынъ пôдкарпатскихъ гôръ. Ôнъ прикованъ до своей воды и до прому. Тамъ ему житье и рай. Ваньо кажутъ, еще дитиною былъ, а вже до воды тягнулся.. Разъ коли жиды пущали Сяномъ бревна позбиванныи въ родъ тратвы съ шатромъ полотнянымъ, Ванько еще хлопакъ тогды пятлѣтній всунулся въ шатро тайкомъ и поплылъ съ жидами. Доперва на долахъ вже побачили жиды, що якійсь хлопакъ въ шатрѣ закутался. Ôнъ потомъ бывалъ и на Днѣстрѣ и на Черемошу, но таки кинулъ все и вернулъ на свôй Сянъ. Ту, кажетъ, жіется якъ разъ. Его вы повинны и запамятати, бо ôнъ то выратовалъ васъ изъ воды, коли вы раненныи упали зъ берега въ Сянъ... Ôнъ принесъ васъ ледво ôтдыхающого на нашу плебанію, а самъ вернулъ. При васъ оставалъ потомъ Гаймонъ.«

»Еще одинъ сынъ Гаймона померъ и остала по немъ лишь вдова Явдоха.«

Евтимъ слухалъ особенно послѣднихъ слôвъ; ôнъ тыхъ по видимому и ожидалъ. Ôнъ еще

теперь не мôгъ истолковати собѣ странное поведеніе Явдохи при его явленію.

Найтичанка станула на рынку; парохъ казалъ завернути въ сѣнь новопостроенной кондиторіи, где по бôльшой части всѣ сосѣды заѣзжали. Но рынокъ окружного мѣсточка не былъ нынѣ пустый. Тамъ, где передъ тымъ тягались лишь жидôвскіи козы, пейсатыи евреѣ, и где безженадно роскладались съ цѣлымъ своимъ семействомъ вандрующіи цыгане, тамъ теперь ржали конѣ, брязчали сабли. Охотники, що тягнули на помôчь Коссутови, тутъ ôтпочивали. Нѣкоторыи лежали на каменяхъ нерôвного рынку, иныи поили конѣ середъ рынку у студни. Многіи собраны были въ кондиторіи.

То была кондиторія, котра разомъ въ малôмъ мѣсточку становила и австерію и ресторанъ и сборное мѣстце. Въ сали головнôй висѣлъ портретъ замаранный Робеспіера а на другôй стѣнѣ образъ представляющій бѣгство Наполеона.

»Тымчасомъ пôйдемъ въ салю« сказалъ парохъ Дуновичъ »еще время: потомъ пôйдемъ до мѣстцевого пароха. Тамъ всѣ сосѣды зъѣхатись маютъ«.

Они вступили въ кондиторію. На порозѣ пристанулъ Евтимъ якъ бы на щось рѣшался,

но сейчасъ рѣшительнымъ крокомъ войшолъ въ первую комнату. Тутъ за бюфетомъ сидѣла женьщина, дама о чорныхъ бровахъ, смяглавомъ лици, на котрôмъ незначно видныи были пѣги, побôльшающіи еще красу ей лица. На головѣ носила шиньонъ а-ля-Шарлоттъ и чело обнимали шиньоны льоконныи. Она была на лици и въ таліи полна. — Евтимъ перейшолъ мимо ней, якъ мимо чужой собѣ дамы безъ выразу лиця. Но она замѣтила его; зôстала однакъ спокôйною, лишь прикусила усточка.

»Скôнчено съ нею« говорилъ Евтимъ сѣдаючи при однôмъ столѣ въ другôй сали »я и самъ вижу, що тую Чешку я неправдиво любилъ; то былъ лишь молодеческій шалъ. А она и сама не совсемъ заслугивала на любовь.«

»А! сержантъ Рокитанскій! И ты тутъ! Браво, варталобъ шампанского выпити, а то заподѣлся ты гдесь, якъ банька пропалъ; куда бывалъ ты? А теперь съ нами идешь на Коморнъ! отлично! Еще разъ браво.«

Такъ говорилъ толстый, объемистый капитанъ гвардіи перемышльской съ фіолетовою краскою на щекахъ.

»О!« продолжалъ ôнъ, увидѣвши пароха Дуновича »и парохъ зъ мого Смеречного тутъ?

а!... разомъ съ сержантомъ... но, не надѣялся... витайтежь. Якъ тамъ теперь въ моимъ Смеречнôмъ, що сбылось... Отъ и ненадѣялся стрѣтити тутъ...«

»Все по старому« отвѣчалъ парохъ зимно.

»Но вжежь... колоды тамъ не люде... и людьми ихъ не годится назвати... значитъ: колоды.«

»Капитанъ!«

Передъ капитаномъ станулъ грозьно бывшій сержантъ, Евтимъ.

»Овъ! що съ тобою? ге?« смѣялся капитанъ »Демократъ? Демократъ изъ тебе вже? ай! Несподѣванка одна за другою.«

»Такъ, я демократъ. Но не конецъ, я оборонитель правъ и чести того народа.«

»А-у! чи то байка Шегерезады, чи я добре не чую.«

»Якъ пôзналъ я, вы дѣдичъ изъ Смеречного.«

»Но?«

»Зарядѣтже въ своимъ домѣ: тамъ дѣются рѣчи...«

»Фю! фю! що теперь по свѣтѣ въ кôнци не дѣется. Братку, плетешь якъ дитина; що мене обходитъ, що тамъ дѣется. Кобы гроши ôтъ жида и вино, а я не дбаю о ничь бôльше.«

»Не дбаешь? А слово твого батька? Гаймонъ...«

»Гаймонъ?« (капитанъ нахмурилъ чело). »И ты го вже знаешь? Мара нехай го тамъ беретъ. Мужикъ ôнъ, то и на то родился абы терпѣти. Ходѣмъ братья!«

»Если ты...«

»Ба, ба, ба, ты хочешь битись! симплицитасъ! За таку маловажную рѣчь. Въ похôдъ братя!« приказалъ капитанъ охотникамъ.

Опустѣлъ рынокъ и австерія опустѣла; охотники оставили мѣсто и посувались до границѣ.

III.

На плебаніи окружного мѣсточка цѣлая обора заставлена то угорскими возиками, то широкими родинными брычками, то простыми драбинястыми телѣгами. Пудла и паки (съ дамскими уборами и приборами) не могли помѣститись въ тѣснôмъ передпокою. А и для тоалеты дамской нѣтъ было где подѣтись. Тѣснота така была въ уборнôй, що кринолины ніякъ не могли прійти въ свою коловую позицію. За то и комора не была порожна. Тутъ спеціалы за спеціалами, марцепаны за марцепанами, а все въ

дарѣ привезенное ôтъ милыхъ сосѣдокъ. Въ пушистôмъ паперовôмъ моху почиваетъ тамъ шоколядовый перекладанецъ а дальше маковый книшъ съ розинами, за нимъ бѣлѣются мазурки съ пѣною и фигами; (той спеціалъ привезенъ былъ ôтъ нѣкой Евляліи: она изъучила его выробъ такъ изъ лѣвой стороны у свѣта). Тутъ сновь веселитъ очи бакалярь зъ галяретовыхъ компотôвъ, любимецъ особенно дѣвицъ по причинѣ свого ваннилового сложенія. Достойно але сусѣдуютъ съ нимъ два жаренныи, не бôльше якъ четыремѣсячніи жаренныи съ хреномъ въ зубахъ (то были іоркширской расы) и — прочое еще, которе градомъ сыпалось изъ пакъ пріихавшихъ сосѣдокъ. — Въ углѣ стояла боченка съ мигдаловою оршадою, любимымъ холодящимъ дамскимъ напоемъ, а вже и не споминати о винныхъ анталкахъ!

Карпатскіи солодости сутъ иного рода якъ французскіи. Послѣдніи сутъ — полны оздобъ, карпатскіи сутъ полны розинъ. И дамы карпатскіи ôтмѣнныи ôтъ французскихъ. Послѣдніи сутъ полны — гримасôвъ, карпатскіи сутъ полны — на лици.

Въ мужеской комнатѣ собрались уже сосѣды, а и такіи, що и за десятыми горами где

проживали. Всѣ они сосѣды. Межи ними кружило якоето письмо въ многихъ числахъ и всѣ были заняты его содержаніемъ. Въ комнатѣ творились поодинокіи группы, въ котрыхъ горячо розправяно; лиця розгорѣлись и правдивое одушевленіе обнимало собранныхъ. Но и тутъ были оказы, котрыи ôтдѣльно держались ôтъ того одушевленія.

Пôдъ ôкномъ стояло трехъ парохôвъ. Одинъ Перловичъ сухій человѣкъ съ выстающими щеками, брунатно-глинястого цвѣта лиця, лысый; прочій волосъ гиперболично заточенъ былъ изъ зады въ передъ. Ôнъ носилъ мѣщанскій жупанъ черешневой краски зъ сѣракового сукна и чоботы о жолтыхъ выверненныхъ холявахъ. Другій Стокайло въ долгôй рипсовôй блюзѣ, высокій, набитый съ напушенною миною. Его фризура была правдивымъ хаосомъ морскимъ начертаннымъ рукою Клодъ-Лоррена. Въ кôнци третій Сержакъ, малый, грубый, одинъ изъ пелеринковыхъ.

»Общества!« говорилъ первый, прикладаючи по философски палецъ до чела »Теферере! Подурѣли но! Якихсь тамъ обществъ имъ ся захотѣло! Того еще не бывало у насъ. Дальше яйце мудрѣйше курки станетъ. А человѣку и не

жити вже. Отъ примѣромъ, выносъ на Николая, сухій такій, эхъ. А думаете гôдную паленицю кто принесетъ?! Кобы еще паленицю, а то просту азимку, суху якъ ходакъ и то еще изъ послѣдного...«

»Що вже, а то правда, що изъ послѣдного« говорилъ Стокайло »лихіи часы, мабуть чи не антихристъ...«

»Етъ!« шенталъ третій »говорѣтъ! щось таке заносится въ воздусѣ, якбы справдѣ антихристъ.«

»Але-ле?«

»Зле щось тягне. Чую Краковъ вже чи не збомбардовали. Ôтъ голода, вôйны и несподѣванной смерти сохрани насъ Господи. Чи не запрягати-бъ намъ нашихъ коней, тай такъ тайкомъ высунутись зъ ôтси?«

Тутъ ôнъ бережливо оглянулся.

»Думаете?«

»Ага!«

»Почекати-бъ бодай до вечерѣ. Кажутъ деканова привезла два четыремѣсячніи жаренныи и то, сважѣтъ, іоркширской расы.«

»Іоркширской! Эхъ! эхъ! эхъ!«

»Ба!«

»А где и вырвала такихъ?«

Тутъ Стокайло липнулъ очима и нахилился въ ухо толстому Сержакови. Послѣдного лице розъяснилось.

»Ажь зъ Уйгелю! Кажутъ деканова сама чи не Мадярка родомъ!«

На то не ôтвѣтилъ вже сосѣдъ, бо въ комнатѣ повсталъ общій рухъ. Тамъ старыи и молодыи инакше вели розговоръ. По нарадахъ всталъ парохъ Дуновичъ и зачалъ:

»Выйшолъ я въ поле. Жнива были. Солнце высоко пôднялося. Смотрю, всѣ жнутъ, лишь одинъ таки спитъ на убочу, спитъ сердечно, лишь серпъ коло себе положилъ. Приступаю до него, буджу его. ‚Ой проспалъ же ôнъ найкрасшій часъ, не догонитъ насъ‘ смѣются другіи женцы. А чоловѣчокъ сбудился, схопился, взялъ серпъ и жнетъ; кладетъ снôпъ по снопови. Зъ полудня полягали сосѣды ôтпочивати, а чоловѣчокъ жнетъ та жнетъ. Надъ вечеромъ дôгналъ всѣхъ, а зачимъ солнце зайшло, всѣхъ перегналъ. — Той чоловѣкъ — то мы. И мы спали. Та треба намъ взятись жати на добре, бо солнце уже высоко а сосѣды давно вже въ поли.«

Такъ говорили еще многіи и всѣхъ получила одна мысль, любовь ôтчины и народа.

Въ коротцѣ надôйшла и праздничная часть ночи. Музыка загремѣла. По появленію Евтима пôйшолъ по сали межи дамами шепотъ. Его замѣтили сейчасъ. И не диво. Евтимъ былъ хорошъ, а блѣдôсть оставшаяся по болѣзни пôдносила его красу. — По узвычаенію повелъ ôнъ майже безмысленно, лишь ôтъ привычки окомъ по дамскôмъ рондѣ.

Но тутъ и пріостановился ôнъ. Ôнъ не повелъ дальше очей, но упивался роскошію, чаромъ синой безконечности карпатского неба, отбитой въ очахъ ей — Сидоніи.

»Гаймонъ правду казалъ« подумалъ Евтимъ »она то естъ, той самъ серафимокъ... Она, котру правдиво люблю... И ябъ ю не пôзналъ, якъ той книжевичъ свою пôдземну любимицу, хотяйбы межи дватсяти ей подругами! Она то же само. Що за яснôсть ôтъ ней бьетъ: сребрныи льоки. А лице? то лице той преобразовавшойся уточки на озерѣ: бѣлое якъ снѣгъ а червоное якъ кровь сокола...«

Сидонія явилась тоже съ уздоровѣвшею сестрою. Ей уборъ былъ праздничный, сдѣланъ изъ легкого бѣлого штофа зъ пуль-де-соа, въ непревысшимôмъ вкусѣ и умѣренности, чимъ и ôтзначалась ôтъ прочихъ Помпадуровыхъ тоалетъ.

Корсетъ изъ мѣнистого гро-гре съ великими цвѣтными десенями увидатнялъ ей талію.

»Первый сонъ для мене солодкій и счастливый былъ у васъ« говорилъ до Сидоніи Евтимъ (они были за хвилю, якъ давныи знакомыи) »а именно сонъ моей семидневной болѣзни... въ немъ видѣлъ я серафимка, васъ...«

»Ага« шутила Сидонія »вы вѣроятно видѣли точнѣйше еще когось въ снѣ, якъ уважати можна по вашôмъ первôмъ словѣ при пробудженію.«

»Такъ? я сказалъ якое то имя?... быти можетъ, дамы якой... но...«

»Отъ, отъ, дамы! вы словились по части! но успокôйтесь, то не было имя дамы...«

»Нѣтъ? Певно нѣтъ. Васъ люблю первую и най...

»Не кôнчѣтъ! А первое слово?«

»То было —«

»Народъ.«

Якъ звукъ еольской арфы переняло то слово душею Евтима. А еще сказала его дама. Его улюбленная дама. И то тономъ такимъ, якбы приказовала, больше любити народъ, якъ женьщину. А хотяй такъ приказовала, не можна было не любити ей бôльше всего. Ôнъ чулъ, що

то слово высказанное дѣвичьими устами уколышетъ его внутренную бурю.

И цѣлую нôчь не видѣлъ Евтимъ иной дамы лишь Сидонію. А тымчасомъ родилась въ душечцѣ брюнетки Чешки страшная борьба. Она и теперь прибрала холодный видъ и прикусовала усточка якъ въ первый разъ въ кондиторіи. Но въ души?...

Чи она любила его? Конечно, дама не всегда и не даромъ прикусываетъ уста. Она знала, що сабля, съ котрою одного рана вернулъ ей мужъ кондиторникъ Больскій, що сабля была окровавлена кровью — Евтима и знала, що кровь плыла за для ней... и она може смѣялась тогды. Но теперь? Теперь ни одинъ поглядъ ôтъ него, ни одинъ укоръ, ни наветъ одно слово! А ôнъ такъ красивый! о много красившій, чимъ прежде; особенно тая блѣдость его. У дамъ и юношъ ростетъ краса въ хвиляхъ страданія, а дамы всегда бôльше влеченія чувствуютъ для страдающого, чимъ для смѣющогося любимца.

Но еще одно принадлежитъ дамамъ. Они сутъ, якъ той славянскій идолъ Триглавъ, котораго лице заслонено золототканнымъ покровомъ, за котрымъ не видно, що въ души происходитъ. Коли однакъ свѣтъ не смотритъ на даму, ски-

даетъ она тую Триглавскую заслону и Чешка черноволосая не прикусываетъ уже усточокъ, но въ своимъ будоарѣ ручки бѣлыи ломитъ, слезы льетъ. Въ уединенію страданіе дѣвичього сердца розрываетъ узы, державшіи передъ свѣтомъ бьющіи чувства въ строгôмъ укрытію.

* * *

Первымъ дѣломъ Евтима по поворотѣ въ Смеречне было, удалитись въ хату Гаймона. Пôдъ вечеръ ôнъ пустился на скалистыи пустки. Идучи стежкою ôнъ сѣлъ ôтпочити. Тоюжь самою дорогою сближался мужикъ въ киптарѣ, съ кошомъ рыбарскимъ въ рукахъ. Не долго приглядался Евтимъ. То былъ Ванько, промовикъ. Ôнъ держалъ въ устахъ короткую люльку и усмѣхался, якъ бы той сухій хребетъ горы былъ для него якимъ Ельдорадомъ.

»Здоровы, право здоровы!« почалъ Ванько узрѣвши еще зъ далека Евтима »Пôйдутъ и они? То гараздъ, пôйдемъ въ двое. Добре робятъ, що зôстали таки у насъ. Що у мѣстѣ? Ану, сказатибъ лишь, що мѣсто маетъ? А отъ що: Камянецъ вѣнецъ, кругомъ вода, а въ серединѣ бѣда. А перекотишься изъ мѣста въ село, то якъ бы щупакъ перекотился изъ мочары въ Дунай. Та

широко-жь пану всюда. А зачепишь где за Савку або Пантиля, то для нихъ вѣтеръ, хоть якъ завертайся, все просто въ очи. Бѣдному Савцѣ нема долѣ, ни на печи, ни на лавцѣ: на печи печутъ а на лавцѣ сѣчутъ. Етъ! Кобы лемъ одно: бакунъ и люлька, тогды и Сянъ не высихаетъ и гуляй по водѣ, поки житья стаетъ. Лише панцю, до дѣвчины щось приступило, та не хочетъ любити. Алежь бо дѣвчина она собѣ! Лише въ любвѣ якбы причаилась; ану смотри лишь, чи не задается. Заходись коло ней а она будьто не замѣчаетъ, а такъ и смѣется и спѣваетъ: ‚Не жури ся мôй миленкій, — Якось тото буде, — Хоть мя другій поцѣлуе, — Ще и тобѣ буде.‘«...

То все сказалъ ôнъ не приставаючи ни въ словѣ ни въ ходѣ и розмахуючи руками, якъ яструбъ, що взбивается крылами въ гору. Они были вже передъ комарникомъ.

»Трофимко! ану, чобаникъ же зъ тебе, таки уродился на чобана, подай рѣща до огню; чого загасло. А ты самъ! Лежишь! отъ призабрался. Лежати ему! Полонину бы розвалити, дубомъ скрухотѣти а лежати бабамъ та панамъ.«

»Дѣдо и Явдоха, знаете где?« пыталъ не встаючи изъ сѣна хлопакъ Трофимко »знаете

где? Не пустили изъ двора, а таки замкнули пôдъ землею.«

Двери заскрипѣли. Въ комнату вбѣгъ малый, горбатый мужикъ съ розчохраннымъ волосемъ и съ переляканнымъ взоромъ.

»Отче Святый Николаю и ты Пречиста!« стогналъ хмарникъ Яковъ »Маджары! Маджары! Чорнява сунетъ тамъ зъ за Бескида. Село Вербѣжи вже въ огни.«

Всѣ поспѣшили до села; почало вже меркнути денное свѣтло. Вечеръ былъ. Изъ стороны угорской границы надôйшла въ село толпа угорскихъ шегенôвъ. А были то паразиты, выросшіи за время революційной угорской бурѣ. Въ недоступныхъ Карпатахъ множились они бôльше еще, чимъ на широкихъ пусстахъ. Была то сволочь образовавшаяся въ банды розбôйничіи и корыстающая изъ переворотôвъ, изъ прорванія всякихъ узôвъ общого порядка, сволочь сложенна изъ розличныхъ сословій людей, а рекрутовавшася головно изъ среди касты, яка лишь на Уграхъ выродалась, касты зовимой Бетіарами а прозывающей себе Шегенъ-Легенами. Бетіары ôтъ давна гуляющіи на Уграхъ, якъ недоступныи орлы и окрытыи въ устахъ народа якимто романтизмомъ, розвинули еще буйнѣйше свои

крыла за революціи. Они бушовали по краю, якъ по своей доменѣ, нищили все лишь для самого уничтоженія и не знали границъ въ тôмъ бѣшенствѣ. Край представлялъ правдивый пореволюційный образъ. И съ житьемъ человѣка они шутили. По дорогахъ стояли шибеницы. Висѣлъ тамъ и жидъ и хлопъ и панъ и мундуровый а кôнчилъ пандуръ.

Толпа обдертыхъ Шегенôвъ нашла на Смеречне и почала въ немъ по своему газдовати. Середъ села они розложились; наскиданныи огненныи ватры горѣли широко. Они нагнали изъ села найтолстѣйшую маргу, найлучшіи подôльскіи волы и ôвцѣ и начали пиръ при огняхъ. Корчма стояла вже зрабована, водочныи куфы выточены; кôлька хатъ горѣло вже въ селѣ.

Евтимъ сближался до мѣстця бенкетующихъ. Коло придорожной хаты боролось кôлька шегенôвъ съ мужикомъ, котрый ôтбивалъ свою послѣднюю ôвцю. Евтимъ ôтторгнулъ Бетіара.

»Ты? Противъ мене? Хлистокъ такій! Противъ вожда Шегенôвъ! Пожди; на гакъ его. Но нѣтъ, зачекайте. Ôнъ чого лучшого достоинъ: тому угодимъ лучше. На найвысшôй полонинѣ будетъ висѣти: связати и забрати!«

Въ синôмъ тужурку, съ жолтыми флоресами,

въ мадярскôй чапочцѣ, съ широкимъ ножемъ въ рукахъ и съ искрящими очима приглядался вождъ Шегенôвъ увязи Евтима.

Сновь опустѣло село. Згасли ватры. Шегенскіи горды потягнули за Бескидъ.

* * *

Связанного въ оковахъ провадили Бетіары за Бескидомъ Евтима на засудъ. Шутками приговоривалъ ихъ вождъ. Для него нема удовольствія бôльшого якъ тое, до котрого нынѣ забирался. Они ишли лѣсомъ.

»Пождѣтъ: що тамъ за чортъ?« крикнулъ вождъ надслухуючи.

За гущавиною дались чути стоны; тамъ лежалъ раненный человѣкъ. Вождъ Бетіарôвъ вдивился въ него.

»Баратомъ!« сказалъ ôнъ въ кôнци »до ката! Чи то ты баратомъ Больскій? що за бѣсъ заставилъ тебе тутъ лежати? Куля?«

»Такъ... но кого вы тамъ ведете? розступѣтся: що? Евтимъ? Що вы?«

»На шибеницю ведемъ.«

»Нѣтъ, нѣтъ, оставьте, его оставьте; баратомъ оставь его... я маю прошеніе до него передъ смертію...«

Вождъ сморщилъ брови.

»Для баратома! Лишь для баратома!«

И ôнъ самъ ростялъ острымъ бетіарскимъ ножемъ цѣпи связывавшіи Евтима.

»Евтимъ« молилъ теперь слабымъ голосомъ кондиторникъ Болскій »Евтимъ: прости менѣ... я не виноватъ. Моя любовь была виновата тогда; правда, тогда я сдѣлалъ не якъ товаришъ, но прости... видишь я умираю, куля прошила мене, тамъ на пусстѣ дунайскôй. Пôйшолъ я съ охотниками. Но получивши кулю не хотѣлъ я умирати на чужинѣ и на жиръ крукамъ; я пустился вертати до моей Елизы. Но дальше вже я не можу; скôнчу тутъ житье и теперь змѣнаю съ тобою роль... Передъ двома мѣсяцями были мы оба другами правдивыми: разомъ стояли мы на Краковскихъ барикадахъ. Ты упалъ ôтъ кулѣ; тогды ты далъ мнѣ листъ до ней и просилъ занести его. Ты любилъ Елизу, тую чорно-льоконную чешку. Но коли я прійшолъ до ней съ листомъ и ю первый разъ побачилъ, я запалалъ найстрастнѣйшою любовью. А ты — уйшолъ смерти тымчасомъ. Я бѣжалъ съ нею... но ты достигъ мене. Теперь змѣняется роль. Я прошу тебе... Занеси ей вѣсть о моей

смерти и скажи, що ю споминалъ я въ послѣднюю хвилю... и еще одно, погребай мене тамъ...«

Вѣтеръ потягнулъ по горахъ, хмары розложились. Грубый дощъ каплями началъ рясити. Болскій былъ мертвый, а надъ нимъ одинъ стоялъ другъ давный склонивши голову.

Ночью черезъ вертепы тягнули волы телѣгу, а на ней трупа Болского и чувающого Евтима. Тягнули они сводомъ по урвискахъ и прогонахъ, по потокахъ и яругахъ, а въ лѣсахъ вѣтеръ шумѣлъ, тоскно и тужливо прошибалъ помежь горы.

Въ полную безчувствительнôсть попалъ Евтимъ, безмысленно поглядалъ въ даль. Телѣга сближалась пôздною ночью до знанного мѣсточка, за котрымъ на горѣ стояла церковь съ чудотворною иконою, привлекающею до себе ôтъ давна окрестный народъ. Коло церкви стоялъ деревянный входъ, а за церковью кладбище.

»Тамъ, тамъ волы поганяй!« промовилъ монотонно Евтимъ, указуючи на церковь. И волы потягнули на гору и стали передъ входомъ. Евтимъ сложилъ тѣло, ôтправилъ мужика, а самъ изнемощенъ кинулся до сну въ деревяннôй входовôй фуртѣ. Ôнъ заспалъ.

Но тутъ и пробудился: шепотъ чуетъ якійто,

шепотъ молитвы и сновь тихо. Нѣтъ то лишь было видѣніе... лишь прочулось. Ранокъ заблесталъ. Свѣжôсть ранна наполнила воздухъ. У низи пôдъ горою мракъ покрывалъ мѣсточко.

Но то не прочувается спящому Евтиму. То на дѣлѣ. Отъ снова шепотъ молитвы, но вже не въ дали пôдъ дверьми церковными, но тутъ же близко надъ его головою. Схилена якая то тварь шепчетъ молитву. Тварь старой женьщины, терпящей матери.

»Сыну, сыну« шептала она со слезами и ей спаленныи уста дотикались зимного чола Евтима.

Такъ дорогого слова не чулъ Евтимъ въ жизни; первый разъ оно ôтбилось о его схорѣлую душу.

* * *

»Такъ, я твоя мати« говорила Явдоха, коли вже Евтимъ не разъ уцѣловалъ ей руки. »Мôй мужь былъ сынъ Гаймона. А Гаймонъ тогды еще былъ ôвчаремъ на полонинахъ. Поля мы не мали, тожь иначе мусѣлъ мôй Василь зарабляти на хлѣбъ. Мы пôйшли обое на Подôлье, на роботу. Тамъ и повила я тебе, мого сына. Но найшло несчастье на насъ. Умеръ отецъ незадолго, а

я остала съ тобою, коли еще былъ ты малымъ дитятемъ въ колысцѣ. Не стало мнѣ уже теперь якъ жити. Я тягнулась по Подôлью, зарабляла еще гдещо а потомъ и опустили мя силы, я занемогла. Не мала я ни своей хаты, ни якого даху. Разъ ишла я дорогою: прійшла хвиля, въ котрой я вже не могла дальше поступити. Лежу таки при дорозѣ и лишь тебе, малу дитину, обнимаю. Чую а дорогою ѣдетъ брыка, въ ней якійсь панъ. Ôнъ поглянулъ на мое знемощѣлое лице и змилосердился. Зступилъ зъ брычки и пытаетъ, що и якъ. Я просила его, щобъ лишь дитину якъ схоронилъ. И ôнъ взялъ дитину ôтъ мене, и поѣхалъ. Я не могла иначе тебе ратовати. Але перейшла моя недуга, я сновь пустилась въ села... За пана и слѣду не было, не могла я тебе ôтнайти. Я шасталась еще по свѣту и зныдѣла на нищо. Такъ зайшла я назадъ тутъ въ наше Смеречне и жіемъ ôтъ давна на пусткахъ. — Разъ нрійшолъ Гаймонъ и розсказалъ, що до нашого попа принесли якогось раненного недужного; тогды мене щось стиснуло за сердце, а я не знала чому. И цѣлый тыждень потомъ менѣ было як-то узко, тѣсно, я не знала где дѣтись. Доперва того

дня, якъ ты войшолъ въ нашую хату, я пôзнала, що то було... Я предчувала, що то мôй сынъ. И пôзнала я тебе якъ лишь ты войшолъ въ нашъ комарникъ. Я не знала тогды, що со мною робится. Отъ теперь и маю тя« скôнчила Явдоха.

»То Гаймонъ мôй...«

»Твôй родный. Ты внукъ Гаймона.«

»А ôнъ —?«

»Еще сидитъ замкненый въ дворѣ. Уже такій человѣкъ! Дивный, не человѣкъ! Знаешь, замкнули его и мене. Коли разъ чуемъ пôдъ дверьми гамôръ. И за хвилю двери упали вывалены. То былъ Ванько и Трофимко. Они высадили двери и кажутъ намъ, що тайкомъ всунулись въ двôръ, що стерпѣти не могли, абы насъ замыкали за ничо якъ звѣрину и що пора пробратись теперь черезъ обору. А Гаймонъ, отъ якій же человѣкъ! ‚Не пôйду' кажетъ ‚хоть мя рѣжьте, а такъ не пôйду: хоть ту умру, то умру, а знати буду, що тайкомъ не утѣкалъ. Нѣтъ' кажетъ ôнъ ‚Гаймонъ по за плечи не умѣетъ утѣкати: просто въ очи стаетъ, а тайкомъ не утѣчетъ.' Не помогло, лишился таки тамъ. А я пôйшла: и якъ не было ити, коли тебе ôтзыскала. А нынѣ до церкви тутъ зайшла, Пречистôй чудотворнôй помолитись. Клячу, и вы-

клячала, вымолила... А еще и не то, не сама я тутъ; въ мѣстѣ нынѣ всѣ села: и зъ Смеречного и Розгôрного и Межибродья и Кольчина и далеко зъ пôдъ Бескида. Передъ днями зъѣхали по селахъ комиссари и голосили, абы люде, громады стали нынѣ въ мѣстѣ. — А я прійшла тутъ до Пречистой и она выслухала мене.«

И любящая мати, одна изъ судьбы тыхъ, которыи гôрькіи дни проживаютъ по широкôмъ Подôлью и Карпатахъ, цѣловала на ново чело свого сына, що красою припоминалъ ей молодыи лѣта, где ей чорныи брови и косы плѣняли легиновыи сердця.

А пôдъ горою церковною розсыпалась мрака и ôткрылось мѣсточко. Оно мало нынѣ видъ святочный. Тысячи народа застелили мѣсто. Громады цѣлого округа явились, якъ было голошено комиссарями, въ святочныхъ одежахъ. Мѣсточко мѣнилось ôтъ барвъ. Чорныи халаты жидôвъ, червоныи уборы женьщинъ, бѣлыи сорочки жужикôвъ, рудыи сѣраки, чиповы, все то помѣшалось въ одну пестру крашанку.

На рынку уладились громадскіи старшины и старыи сивыи мужики, що еще Іосифа и Марію Тересу запамятали. Тамъ столпились громадяне изъ Протѣсного. Всѣ въ широкихъ берегса-

сякъ [illegible]
ловата, съ [illegible]
съ легкимъ [illegible]
гнучкія, съ [illegible]
крепкими [illegible] —
набитого [illegible]
плечи, [illegible]
обвивающихъ [illegible]
бараньихъ [illegible]
кожаныхъ [illegible]
обрытыми [illegible]

Всѣ они [illegible]
голосяли, то и [illegible]
другіи третьяго, а тѣй, то [illegible]
то странно [illegible]

«Слухайте» [illegible]
рый присадковатый [illegible]
стурѣ »хочете, то [illegible]
дойре заносится. Уже и [illegible]
[illegible] здесь ладится. [illegible]
[illegible], она ѣла мандрыгу [illegible]
[illegible]. А пана знаете съ [illegible]
[illegible]. А дальше войтова [illegible]
[illegible] умеръ, не положили [illegible]
[illegible] перинула, а [illegible]

Чи не на новую [illegible]

ть.«

не розводился межи Пр[illegible]

но такъ самому Н[illegible]

ружьемъ начинивали.

ію утѣть.« говорилъ [illegible]

а долги значковыя [illegible]

которе прошлого лѣта [illegible]

брали въ камерального [illegible]

. Камера опушаетъ [illegible]

а то не довина!.

ь домѣ мѣстнаго [illegible]

житье. Сосѣди [illegible]

одушевлены, [illegible]

, затирали руки [illegible]

на рынокъ либо [illegible]

ымчасовъ собиралъ [illegible]

я межи народъ.

Евтимъ! Евтимъ! [illegible] Евтимъ? Бы-

о вы? вы? [illegible]

ньо. Вы жіете? [illegible]

ть кровомъ, теперь, [illegible]

Парокъ Дуванетъ [illegible]

»Вы убіли? Вы дѣйств[illegible]

ямъ? тымъ Бетіарамъ [illegible]

волюція, до такихъ банд [illegible]

[illegible] день!.

[illegible]

розби-

[illegible]ведетъ

[illegible]якого

скихъ чересахъ, въ угорскихъ широкихъ панталонахъ, съ блестящими оздобами на грудехъ и съ легкими топорами за чересомъ. Самы же высокіи, гнучкіи, съ брунатными лицами, чорными усами и крысатыми капелюхами. — За ними Кольчовяне набитого тѣлосложенія, малого роста, широкоплечи, мускулярны, въ шляхоцкихъ червонообшиванныхъ жупанахъ изъ сивого сѣрака, въ бараньихъ кучмахъ. А дальше Межибродяне въ кожаныхъ лейбикахъ, ликовыхъ ходакахъ, съ обрытыми щеками и дегтёваннымъ волосьемъ.

Всѣ они прійшли, не знаючи, чого и по що; голосили, то и прійшли. Одинъ пыталъ другого, другіи третього, а той, то раменами сдвигалъ, то странно отвѣчалъ.

»Слухайте« говорилъ межп Кольчовянами старый присадковатый мужикъ, опершись на костурѣ »хочете, то скажу, що и куда. Зле, не добре заносится. Уже я такъ ôтъ давна уважаю, що щось ладится. Снилась вчера менѣ очеретянка, она ѣла мандрику. Смотрю а то чи не пава. А пава знаете съ нечистымъ въ связи стоитъ. А дальше вôйтова розсказовала, якъ присяжный умеръ, не положили оболоса въ трумну; душа мертвеца вернула, а очи у ней были чер-

воны... Чи не на новую кровь заносится! Отъ то и естъ.«

Иначе розводился межи Протиснянами провизоръ, що таки самому Наполеонови еще пôдъ нôсъ оружьемъ зачахивалъ.

»Шію утнѣтъ« говорилъ ôнъ »якъ не то: Камера долги зажичковыи опущаетъ; за тое збôже, которе прошлого лѣта якъ голодъ былъ, люде брали изъ камерального шпихлѣра на зажичку. Камера опущаетъ теперь долгъ. Що камера то не домена!«

Въ домѣ мѣстцевого пароха такожь розвинулось житье. Сосѣды сновь зъѣзжались, ихъ лиця были одушевлены, урадованы, они горячо росправляли, затирали руки и поглядали ôтъ часу до часу на рынокъ якбы чого ожидали.

Тымчасомъ сойшолъ Евтимъ зъ горы и вмѣшался межи народъ.

»Евтимъ! Евтимъ! на Бога! пождѣтъ. Боже! чи то вы? вы? правдивый, живый Евтимъ? Неможливо. Вы жіете? И вы идете такъ повôльнымъ крокомъ, теперь, нынѣ, въ такій день!«

Парохъ Дуновичъ взялъ Евтима за рамя.

»Вы уйшли? Вы дѣйстно уйшли тымъ розбишакамъ? тымъ Бетіарамъ. Отъ, до чого ведетъ революція, до такихъ бандъ, до прорванія всякого

общого порядка. Такій епилогъ революціи. Она перемѣняется въ кôнци въ шаленную рѣзню. Но нынѣ, Евтимъ, радость, радость для насъ. Я казалъ, важныи вѣсти вже давно приходили зъ Вѣдня. Нынѣ день, якого не бывало и не будетъ у насъ. Отъ даютъ вже знакъ, тарабанъ бьетъ. Ходѣтъ тутъ на той вершокъ, зъ того мѣстця узримъ все.«

Парохъ и Евтимъ пôдойшли на въ близи стаящій горбокъ, изъ котрого розстелился видъ на весь народъ. Но парохъ сталъ удивленъ. Передъ нимъ клячалъ Евтимъ.

»Скажѣтъ« молилъ дрожачи Евтимъ »скажѣтъ: она не духъ? Нѣтъ? Не духъ ли она?«

»Кто она?«

»Мати, моя мати.«

»Ваша мати? Що вамъ? Вы слабы.«

»Нѣтъ, я доперва здоровѣю.«

»Встаньте лишь. Що вамъ?«

»Самъ не знаю що. Я народился. Я нынѣ народился. Нынѣ я свѣтъ узрѣлъ. До тѐперь я скитался по свѣту самъ одинъ, якъ брошенный листокъ, якъ излишній человѣкъ. Теперь я ôтзыскалъ два сокровища: матерь, а тымъ самымъ и народъ, бо я выйшолъ изъ него... Гаймонъ мôй... она...«

Парохъ не понималъ Евтима, ôнъ лишь вдивлялся въ него.

»Вы не можете забыти Гаймона: то природно. При вашей слабости ôнъ вбился вамъ въ память. То душа! но я чулъ, що съ нимъ теперь щото случилось въ дворѣ. Кажутъ ôнъ тамъ збожеволѣлъ. Перетерпѣти того не мôгъ, що взяли его. А согнути ся не далъ: утѣкати не хотѣлъ... Теперь, кажутъ, совсемъ божевольный.«

»А!« Евтимъ гôрько засмѣялся. »И я зъ рода Паранюкôвъ, и я зъ дѣтей Гаймона! Бій же тамъ тарабане знаю, на кого теперь за твоимъ голосомъ ити. Чій предокъ умеръ въ фаётонѣ розпустной дамы запряженъ? Чій прадѣдъ погибъ въ поломѣняхъ огня? А теперь чій предокъ божеволѣетъ тамъ!...«

Утихъ на мѣстѣ тарабанъ.

Тишина настала.

На высокôй трибунѣ середъ народа появились промульгаторы. Великое слово голосили они народу. Слово, що сломило ихъ недолю до лучшей будучности. — А было то слово — свободы. Вѣсть знесенія паньщизнянного ярма. — Давно проминула вже катастрофа въ столицѣ. По всѣхъ углахъ державы голошено свободу.

Но по окончению промульгаціи странно захо-

вался народъ. Нѣмо стоялъ ôнъ, познимавши накрытія изъ головъ. Тихо было наоколо. Якъ громомъ раженна стояла недвижимая маса. Не надѣялась она такъ великого слова. Доперва по уплывѣ первой хвилѣ рушился народъ, якъ тое волнистое море, которе передъ волнованьемъ тихо розлилось. Здрадливая тишина. Такою была и тишина народа. Люде упали теперь на колѣна, цѣловали святую землю, поклоны били и долго еще не пôднималися зъ землѣ.

»Отъ и день!« воскликнулъ изъ горы Евтимъ съ розъясненнымъ обличьемъ, и поднесъ руку въ гору »великій день! Тѣшь ся Гаймонъ, старче, веселись тамъ въ твоей вязницѣ. Ты свободный! Свободный! Тѣшь ся Гаймонъ!«

»О! Тѣшусь« почулось въ близи середъ толпы, якъ кряхканье крука. Люде ôтступались и крестились: межи ними пробиралась якая то стать, якійто великанъ схиленъ, въ обдымленнôй старôй одежи, съ долгими сивыми розвѣянными волосами, съ блудными очима.

»Божевольный! Гаймонъ!«

»Гаймонъ« говорили голосы межь народомъ.

И Гаймонъ якъ бѣшенный валилъ передъ собою все, що лишь придыбалъ и тиснулся помежь толпу.

»Отъ збѣгла, ôвця, ôвця збѣгла... зъ плаю« Ôнъ говорилъ охриплымъ голосомъ и смотрѣлъ все блудно въ даль, якбы доглядалъ за бѣгшею ôвцею.

Кôлька мужикôвъ зъ Смеречного смогли уняти его пôдъ руки.

»Богъ святый съ вами Гаймонъ« приговоривали они, »що вамъ? Отче святый Николаю!«

Гаймонъ поглядалъ на нихъ не пôзнаючи никого; по его поораннôмъ старôмъ лици точились слезы. Ôнъ кинулся еще разъ всею своею силою, уволился ôтъ тримавшихъ его мужикôвъ и упалъ безсильно на землю.

Гаймонъ былъ вже мертвый.

Не зазналъ вѣсти, за котрою тужилъ цѣлую жизнь.

* * *

Сумно стало на дворѣ дѣдича въ Смеречнôмъ. Все тамъ змѣнилось.

День передъ смертію Гаймона вернулъ дѣдичъ, толстый бывшій капитанъ гвардіи, изъ угорской револьты. По маршу ôнъ спалъ твердо; но тутъ же надъ раномъ малъ ôнъ въ снѣ видѣніе. Сова выколювала ему очи, изъ совы стался гробарь, живцемъ закоповалъ дѣдича а

капитанъ заразъ пôдъ рукою доброго обѣда, то вже жена мого сродника постарается тамъ о якое Шолетъ съ логазами, чесникомъ и даррефлейшомъ, а можетъ быти и Пенецликъ або Кугли съ толстымъ мясомъ, або Креесъ, ну наконецъ вже и надѣванная гельсель значится шійка гусья съ утробою...«

Рано того же дня не было вже дѣдича бôльше въ дворѣ. Тамъ загосподаровались иныи властители. Съ молчаніемъ выйшолъ бывшій дѣдичъ Смеречного съ одною лишь спадковою лѣскою изъ двора и переходилъ по при пустки надъ Сяномъ. Изъ мѣста вертали вже люде. Кôлька мужикôвъ стало коло него.

»Отъ, душу ты неповинну запропастилъ, Гаймонъ мертвый!« казали они до него, покивуючи головами и поступаючи дальше.

»Мертвый?«

Дѣдичъ липнулъ очима на Гаймоновую хату, передъ которою стояла телѣга.

»Мертвъ? Тымъ лучше, теперь отъ тамъ и наслѣдіе для мене по Гаймонѣ.«

Ôнъ припрягъ старого коня до телѣги и взялъ бичъ.

Отъ ое наслѣдіе.« —

По монотонныхъ дорогахъ широкого Подôлья

тягнулся кôлька дней послѣ того лахатый мазярь, торговщикъ мази, тягнулся съ старымъ конемъ, полатанною телѣгою и чорною бочкою наполненною мазьнымъ плыномъ. Фіолетовая краска его лица не дуже и жахалась лахатой одежи. Бывшій капитанъ гвардіи и дѣдичъ Смеречного переливалъ теперь не вино Шамародное ани Дукельское, но дегть и мазь для подôльскихъ мужикôвъ и корчмарей.

Пусто и на перемышльскôй рогачцѣ. Не звучитъ вже марсиліанка, не бакхантуетъ бôльше гвардія. И слѣды за нею протрачены.

Въ цѣлой Галичинѣ наступилъ зворотъ. Гвардія польска зôстала розвязана. Тайныи общества для услугъ будущей републики выкрито и обезсилено. Таяже судьба постигла и тайный союзъ рукодѣльникôвъ пôдъ прапоромъ Госляра. Послѣдній погибъ на шибеницѣ, а вторый предводитель попалъ въ чешскую крѣпость Спильбергу и тамже сконалъ. И извѣстная историчная дама Анна Рожицка, дочь генерала Самуеля Рожицкого погибла тоже на Спильбергу. Лишь емиссарій Госляра, мужчина въ шкотскôмъ жакетѣ и лякерованныхъ чоботахъ, смѣнилъ имя, прибралъ иную внѣшнôсть и въ далекой усторони межи Яслискими лѣсами заложилъ при дорозѣ

гостинницу вывѣсивши мѣсто червоной флягти, — смерековую вѣху.

IV.

Проминуло кôлька лѣтъ. Такъ, якъ стрѣлецъ, що видѣлъ кровь сокола на снѣгу, забажалъ жены о лици бѣлôмъ якъ снѣгъ а червонôмъ якъ кровь, такъ, кажетъ преданіе народне и матерь увидѣвши кровь голуба спадающу на бѣлый марморъ, выродила въ собѣ желаніе, получити дитя бѣлое якъ марморъ а червоное, якъ кровь голуба.

И ей желаніе сполнилось. Осчастливленна цѣлуетъ страстно Сидонія свое дитя, сына въ колыбели, а еще страстнѣйше цѣлуетъ женочіи уста Евтимъ и съ любовью нахиляется надъ колыбелею свого сына.

»Нѣтъ« говорилъ Евтимъ свертаючись до матери своей, Явдохи »не иную пѣснь спѣвайте надъ вашимъ внукомъ а моимъ сыномъ, не иную пѣснь, но ту саму, котору надомною вы спѣвали, тую тужливую, молящую пѣснь свободы...«

И Явдоха спѣвала пѣснь родову, пѣснь, що по преданію изъ устъ до устъ переходила и заховивалась въ родинѣ якъ сокровище.

»Ба! пѣснь свободы ему спѣвати,« шутилъ парохъ Дуновичъ вызыраючи изъ за газеты »не треба и того. Кто зъ Гаймонôвъ, тому сама она внадится. Не диво теперь и за тебе Евтимъ. Отъ твоя давна страсть партизантска! А тая страсть то ничо иного, лишь сбоченный выплывъ твого родового свойства. Ты внукъ Гаймона, а кто были Паранюки знаешь.«

»Горджусь тымъ родомъ« отвѣтилъ Евтимъ »и я теперь счастливъ: бо я излѣченъ. Совершенно излѣченъ. Я на правой дорозѣ теперь. Вы правду казали, до свободы идется правою дорогою. Ôтъ того памятного дня я излѣченъ.«

Еще нѣкоторое смѣнилось въ родинѣ Гаймона. Хмарникъ Яковъ побудовался на старôй батькôвщинѣ и началъ господарство, а его сынъ Трофимко ôтзначается вже въ селѣ найбôльшою силою. — Лишь Ванько, промовикъ, осталъ при давнôмъ. Ôнъ на сушу не хотѣлъ ити. На водѣ лишь для него житье. И то не гдеинде лишь на Сяну. На Днѣстрѣ гôръ и паровôвъ нема, а Черемошъ за порывистый. Лишь Сянъ плыветъ гардо якъ гардая дѣва. То и дѣло же, що съ улюбленною дѣвою ніякъ не доберешься до кôнця; всегда будьто задается. Часами спламенитъ и спѣваетъ »Такійсь гарный и мо-

торный, — Тай любити знаешь, — Тôлько лише доганочки, — Що жены не маешь.« Зачепи же за то, абы стала женою, а она но пôдъ боки берется, смѣется и сновь: »Ой тамъ въ полѣ, двѣ тополѣ, — Третья зелененька, — Не буду ся ôтдавати, — Бомъ ще молоденька.« —

* * * *

Въ одно горячое лѣто выбрался Евтимъ за дѣлами на Подôлье. Переѣхавши долгую одностайную дорогу, пристанулъ коло одной подôльской корчмы, стоящей одиноко середъ далекой рôвнины. Передъ корчмою цѣла обора была заставлена. Однакъ не были то ни сбожовыи господарскіи возы, ни фурманки жидôвскіи, но мешкальныи возы съ ôкнами и крашенными стѣнами; туда переѣзжала нѣмецкая театральная труппа, одна зъ тыхъ, которыхъ въ то время бôльшое число гостило въ Галичинѣ переселяючись изъ мѣста до мѣсточка. — Кôлька оголенныхъ лицъ стояло при возахъ а межи ними ôтзначался широкоплечій бравурный режишеръ.

Евтимъ переходилъ мимо одного воза и пôднесъ очи въ гору. Ôнъ поткнулся о камень, а таки дальше не пôйшолъ, лишь снова поглянулъ въ ôкно воза. Тамъ вызырала женьщина, пол-

на, роскошна, о чорныхъ бровахъ, чорныхъ волнистыхъ льоконахъ, поглядаючи зъ горы своими въ душу проникающими очима. Нѣжный пѣговый тейнтъ не зникъ еще пôдъ сценичною шминкою.

Дама легко вскрикнула, но потомъ прикусила усточка и спокôйна якъ статуа приближилась еще бôльше до ôкна. До воза прибѣгъ мальчикъ о бѣлыхъ кучеряхъ.

»Венцличекъ« говорила дама до мальчика »привитай того гостя; ôнъ былъ пріятель твого ôтця.« (Венцличекъ былъ сынъ Елизы.)

»Такъ, други мы были оба« сказалъ Евтимъ, рисуючи лѣскою по пѣску »но въ немъ сильнѣйша была любовь до дѣвы, якъ дружество.«

»Не осуджайте Болского« говорила Елиза »я сломила слово любви, которе я вамъ дала. Но судьба хотѣла, щобъ миртовый вѣнецъ случилъ мене не съ вами лишь съ Болскимъ... а однакъ... (она понизила взоръ)... однакъ держу я вашъ листъ изъ барикадъ... Я сломила слово, но моя любовь перва не сломилась...«

Дама сникла: за ôкно запала рулета.

Елиза по ночи праздниковôй у пароха, видѣвши Евтима ôтданного цѣло Сидоніи, перлѣ карпатскихъ гôръ, попала въ женскій жаль, ко-

торый иначе называется завистію. И она выплаковала чорныи очка и ломила бѣлыи ручки, однакъ чого не затираетъ время! Она кинула минувшôсть и стала женою режишера а разомъ и сценичною актрисою. Кажутъ, идолъ Триглавъ удѣлилъ ей свого золототканного покрова на закрываніе внутреннихъ чувствъ и волненій.

* * *

Высоко въ лѣсѣ середъ отвѣчныхъ смерекъ и поваленныхъ ялицъ стоитъ на зеленôмъ горганѣ крестъ зъ дубовыхъ палей, а пôдъ крестомъ виднѣетъ надпись: »За свободу. Дѣти Гаймона.«

Типографія Г. Пеца (Липпертъ и Ко.), Наумбургъ н/С.

Въ кôнци и югасы заспали пôдъ голымъ небомъ, и доперва ранній ôтголосъ церковного звона побудилъ всѣхъ зъ блаженного сну.

IV.

Разомъ съ югасами всталъ и нашъ Мирославъ и розставшись съ ними пôйшолъ въ сторону лѣса.

Его одинокою цѣлью было теперь, узнати, кто та хороша Русалка.

Ôнъ не осталъ отдѣленъ отъ завладѣвшого и розгорячающогося тогда народно-демократичного духа и былъ однимъ изъ тыхъ, що иначе и въ инôмъ ôтношенію до себе видѣли масу народа, котрой ôтъ многихъ столѣтій никто не уважалъ, до котрой никто не приближался: а не былъ свобôдный и ôтъ фанатизму, що въ парѣ идетъ съ кождымъ новымъ розгаромъ.

Ôнъ ступалъ въ лѣсѣ стежкою до звалищъ монастыря. Трава и зеленый мохъ были покрыты буйною росою, що якъ перлы блескотѣла на лѣсномъ поли, а на величезныхъ галузахъ смерекъ и сосенъ бѣлѣли еще неповрежденныи сѣти паутины, обнимающіи лѣсъ якбы якю легкою срѣбрною тканиною. Изъ долины долѣталъ

звукъ косы, що готовилась вже застелити поля валами гôрского ôвса и ячменю а зъ горбкôвъ и пасовискъ ôтзывались стада овецъ.

Съ бющимъ сердцемъ пристанулъ Мирославъ передъ мурами и прислуховался. Лише голосъ топора ôтзывался за старыми мурами. Звалища старого монастыря зналъ ôнъ такъ добре, якъ кождый кутикъ свого рôдного села и памяталъ цѣлую ôтпись папского декрету, котрый вырытый надъ дверми головной сали осталъ одинокимъ памятникомъ, пригадующимъ, що въ тыхъ мурахъ мѣстились колито наслѣдники Лоїолы. Часть мурôвъ еще стояла, часть упала совсемъ и становила тôлько прибѣжище для нôчнихъ птицъ; народъ оминалъ тую часть лѣса яко закляту и розсказовалъ много о упырахъ и мавкахъ, що снуются по чорныхъ коридорахъ и комнатахъ руины. —

Теперь стоялъ Мирославъ передъ тыми мурами, съ намѣреніемъ пôзнати той таинственный свѣтъ духôвъ. Его тягнули чары, чары очей и сѣть незнанной русалки.

Ôнъ вступилъ на старыи почорнѣлыи сходы; доски порушались и кôлька ящѣрокъ шибнуло изъ нихъ въ гущавину. Голосъ топора утихъ и Мирославъ входилъ вже въ чорный коридоръ,

коли изъ однихъ бочнихъ дверей показался чоловѣкъ высокого росту, съ запалыми щеками, пôдтятою бородою, въ сивой куртцѣ сягающой по колѣна и перепасанной ременемъ, въ мадярской чапочцѣ и съ топоромъ въ рукахъ.

Мирославу припомнулся розсказъ югаса. Оба они стояли хвилю поглядаючи на себе въ нерѣшимости, почôмъ чоловѣкъ въ куртцѣ обернулся и ôтдалился въ другій конецъ коридора.

»Що у ката!« говорилъ недоволенъ Мирославъ, потеръ чоло и рѣшительно пôйшолъ въ глубъ за гончаремъ. Перейшовши пустыи комнаты, дôстался въ кôнци до сали, що здавалася быти обиталищемъ гончаря. Грубый муръ мѣстцами попуканный, фрамуги съ рѣзбами Алойзого и Савины и малыи знищенныи ôкна припоминали келію монашеску; на серединѣ стоялъ простый дереваный стôлъ и лавка, а пôдъ стѣною рядъ горнцевъ и збанôвъ. Понуро споглядающій чоловѣкъ вь сивой куртцѣ, стоялъ на пôлъ ôтверненный ôтъ войшовшого Мирослава и занимался своимъ дѣломъ.

»Щасть Боже« зачалъ Мирославъ »чи вы нашъ чоловѣкъ изъ тутейшого села, чи где изъ близи зайшли?«

»Чи я вашъ?« гончарь кинулъ зъ боку не-

довѣрчивый поглядъ на вопрошающого гостя: »Абожь вы кто?«

»Передомною можете смѣло и отверто говорити« увѣрялъ Емирко »вы видите мене вправдѣ убранного якъ пана, але знайте, що пôдъ тымъ сурдутомъ бьетъ таке саме сердце, якъ пôдъ сѣракомъ. Васъ люде зъ села оминаютъ, бо видятъ въ васъ чарôвника, але менѣ о тôмъ не маете що говорити. А може васъ и паны минаютъ яко сѣракового, але видите, що я не той; я догадуюсь, що вы не любите сурдутовыхъ, но мене не берѣтъ за такого. Я вижу вашу бѣду и чую ваше горе, тай скорше може хотѣлъ-бымъ ити за плугомъ, якъ сидѣти въ фотелю.«

Гончарь зморщилъ брови и зôтхнулъ.

»Ой тяжко« проговорилъ ôнъ »тяжко не мати своей нивы и свого плуга.«

»А вы не свôй газда?« спросилъ Емирко.

»Я? Отъ, вандрующій зарôбникъ.«

»Вы изъ Бойкôвъ зайшли?«

»Бывалъ и у Бойкôвъ. Где берутъ мою роботу, тамъ и сиджу; посиджу, и сновь дальше потягну.«

»А ваше рôдне село где?«

»Рôдне село?« гончарь здрôгнулъ и сновь поглянулъ недовѣрчиво на Мирослава.

Въ той хвили дался чути легкій хôдъ и лѣсна русалка легкимъ крокомъ вôйшла въ комнату, въ тôмъ-же самôмъ пестрôмъ нарядѣ и съ кошомъ въ руцѣ: пестра, красивыми цвѣтами флоресованна закидка окрывала ей волнующуся грудь а червона калина украшающа ей чорныи косы отбивала плѣняючо съ ей снѣжно-бѣлымъ лицемъ, на котрôмъ всегда мѣнялись и пламенѣли тіиже маковыи цвѣты. Живыми, но строгими очами здраджовала она душу, що розвивалась не тôлько пôдъ самымъ горячимъ солнцемъ и при беззаботнôмъ спѣвѣ соловѣя, но пила еще и зъ иного жерела и иной пѣсни прислуховалась. —

Она хотѣла ôтозватись, но увидѣвши нового гостя, покраснѣла и якъ ланя нѣжно ступаючи поставила на столѣ кошъ.

»Февронко!« ôтозвался гончарь »чи уладилась все добре въ мѣстѣ?«

»Якъ видите, добре« сказала она глядаючи въ коши »а за зрубомъ знайшла я ядомое зѣлья, оно номôчне.«

»Вамъ Февронко не до лица такіи слова« заговорилъ Мирославъ »вамъ не до лица; чи и вы вѣрите въ такіи небылицы?«

Еи очи смѣялись наивно и смотрѣли на Мирослава.

»А певно: въ чары не вѣрите а будь где стрѣтите даму городску, то ôтъ чарующей пачули и вянете! А що?« И она смѣялась, показуючи бѣлыи зубочки а послѣ кинувши еще одинъ взôръ на гостя улетѣла якъ легка птица. —

»То ваша дочка?« свернулся Мирославъ до гончаря.

»Дочка, Февронка.«

»Хороша дѣвчина!«

»Отъ звычайно селянка.«

»Чоловѣче« говорилъ горячково Мирославъ »чоловѣче, ты повиненъ гордитись такою дочкою.«

»Где мнѣ гордитись, я не панъ.«

»И я не панъ, а хоть родомъ поповичъ, а душою вашъ!«

»Поповичъ?«

»Демяновскій.«

»Боже! Емирко« воскликнулъ гончарь и ударилъ рукою въ чоло.

»Вы знаете мене?«

На лици гончаря показались ознаки колизіи и ôнъ не зналъ, що отвѣтити. —

»Здаесь...« говорилъ ôнъ якбы черезъ сонъ »здаесь котрыйсь изъ пастухôвъ, розсказовалъ мнѣ, що тутейшій пôпъ маетъ сына Емирка... Боже... а чулъ я и за доброго старика отца

духовного Платона... я чулъ... а то кажутъ, що и его катуютъ, и не оминаютъ паны изъ двора... но прійдетъ часъ, що кождому за свое ôтплатится.«

Гончарь затиснулъ руки, а въ очахъ его сверкнулъ огонь. Ôнъ взялъ зъ угла ручницю, закинулъ ю на плечи, натиснулъ мадярску шапку и зморщивши брови покручовалъ усъ.

»Теперь иду въ лѣсъ за дичиною« сказалъ ôнъ »въ Соколицкій лѣсъ, ходѣтъ и вы, убьемъ що нибудь.«

Они бушовали по дебрахъ Карпатскихъ лѣсôвъ, по урвискахъ, помежи густыи корчѣ лѣщины, ялôвцю и дикого бозу, по пôдъ высокіи чорнозеленыи смереки, то сновь по гаяхъ бѣлыхъ березъ и трепетины и упивались то красотою природы, спѣвомъ лѣсныхъ птицъ то свистомъ угорского вѣтру.

Не было вже прохолоды для зачарованного сердця Емирка. Ему по мысли были такіи страстныи ловы. И товариша знайшолъ такого, що якъ-бы зъ отчаянія або яко вѣрный сынъ лѣса счастливымъ здавался быти, коли можетъ ступати и лѣтати по карпатскихъ вертепахъ, не знаючи границы въ дикôмъ майже удовольствію.

Гончарь то приставалъ то пôдслуховалъ, то

сновь якъ страстный стрѣлецъ слѣдилъ настойчиво дичину, що полохливо утѣкала передъ незнанными гôстьми и до того несподѣванными. Отвѣчныи лѣсы бескидскіи не мали и не знали такихъ гостей, нога чоловѣка не ступала въ многихъ предѣлахъ тыхъ лѣсôвъ. Хапчивый волкъ, полохлива серна, громада лисôвъ и лѣсныи деспоты, владѣтели карпатскіи — медведѣ, свобôдно ходили помежи поваленныи дубы и смереки и не знали еще свого ворога.

Гончарь водилъ Мирослава по тыхъ отвѣчныхъ лѣсахъ якъ по своей державѣ. Тутъ указалъ на широкій дубъ, тутъ на чорну пропасть, зъ котрой тôлько шумъ воды долѣтаетъ а тамъ на зеленый звôнками и папоротею покрытый горбокъ, где »ажь душа радуется, коли поглядаетъ на розстелене въ долинѣ село.«

Мирославъ ишолъ за нимъ повинуючись и стараючись зôбрати свои мысли, котрыи еще не освободившись ôтъ образу плѣнившой его русалки, вже остановлялись надъ непонятнымъ явленіемъ, природою и видомъ — монастырского гончаря, котрого непевный взôръ, хмара часто появляющася на чолѣ, выминаніе отвѣта на вопросъ о минувшости и въ кôнци неповседневный селянскій типъ не уйшли его увазѣ. Февронка еще

убôльшала тую непевнôсть и сомнѣнія Мирослава; ôнъ видѣлъ, що она не сестра возросшихъ пôдъ соломяною стрѣхою дѣвчатъ, що ей нѣжный добротливый съ наивною кокетеріею помѣшанный складъ устъ, довольствами и спокоемъ назначенный усмѣхъ, спокôйный жаръ въ очахъ и русалковый легкій хôдъ, — що все то кажетъ догадоватись розцвѣту ей не пôдъ пустою и бѣдолашною стрѣхою селянина.

Гончарь давалъ такожь собою много розбору о своей минувшости. Мирославови пересувались передъ очи розсказы зъ молодыхъ лѣтъ, сказки мамки або старой пряхи при коминѣ о хмарникахъ и знахорахъ; ôнъ помнилъ ще зъ молодыхъ лѣтъ старого бородатого Хмарника Жаватьева, що ходилъ убраный якъ пôдпанокъ, а жилъ въ печерѣ за Чорною Скалою, еще припоминался ему заходившій часто въ дôмъ родительскій вѣщунъ Верета, що носилъ бюровый каскетъ и сину капоту и ворожилъ изъ руки и кôтла. Все то скланяло Мирослава, бодай не ôттягатись ôтъ вѣры, що гончарь ничо иного, лишь дѣйстно знахоръ и ворожбитъ.

Они помучившись бѣгомъ шаленнымъ и ловлею, ôтпочивали при жерелѣ гôрского потока.

»Отъ, то житье!« почалъ гончарь, сѣдаючи

ôтъ труду на мораву и покрѣпившись водою, »отъ, яке житье. А то бѣгай туда и до смерти, а не набѣгаешся. Уже тіи горы, катъ ихъ туда не наносилъ! А то — иди у мѣсто — на ничо; плюнешь тай утечешь; иди у подôлье — на ничо, посоловѣешь, а не втнешь. Ей Емирку, Емирку, уже тіи горы та лѣсы! Жіешь а ненажіешся.«

Такъ говорилъ гончарь и пожиралъ очима вечерній пейсажъ, якій становило освѣтленне вечерними лучами солнця домашôвске село. Въ около чути было сопѣлокъ и спѣвъ молодицъ и легинôвъ, що вертали зъ поля до своихъ хатъ. За ними тягнулся где сивый старикъ, що несъ на рукахъ дитя за молодою робучою парою, тамъ провадилъ малый хлопецъ телѣгу, а тамъ сновь гналъ економъ нагайкою звязанного робôтника, щобы ôтплатитись ему у себе дома за якуюто дерзость оказанну на поли. —

Всѣ вертали въ село, а и два якъ орлы по Карпатахъ бушовавшіи стрѣльцы стали на розстайнôй дорозѣ, що въ лѣсъ и въ село розходилась.

»Чоловѣче« ôтозвался Мирославъ до гончаря положивши руку на его плечи »скажи мнѣ одну рѣчь отверто, схочешь?«

»Отъ не пытайте — Емирку — не нытайте« отвѣчалъ гончарь потупивши взôръ въ землю.

»Не жадаю ôтъ васъ, за много, чого не можете сказати и не входжу въ ваши дѣла. Але тая Февронка... отъ я хотѣлъ спытатись васъ коротко, чи ваша перла Февронка узрѣла свѣтъ пôдъ сельскою стрѣхою?«

Въ очахъ гончаря блиснулъ снова огонь.

»Та отъ« ôтказалъ ôнъ »она собѣ селянка, отъ селянка, якъ та и другая.«

»И вы изъ сельской хаты?«

»Тай я — Стефанъ Федишинъ.«

»Досыть« закôнчилъ Мирославъ »а то и завтра погуляемъ туда.«

»Погуляемъ,« сказалъ Стефанъ »отъ що, а погуляемъ добре.«

Они розôйшлися.

Село сновь задрѣмало, сновь туманы розстелилися по долинѣ, а пугачъ все и все затягалъ свою гробовую нуту. —

V.

Перейшло кôлька дней. Мирославъ сталъ щоденнимъ гостемъ въ заклятôмъ монастыри. — Тамъ знайшолъ ôнъ щирôсть и правду и тіи два ôткрытыи дары пестилъ и тѣшился ними, якъ дитя найденнымъ свѣтилкомъ. — Гончарь

Федишинъ мало стратилъ на своей лаконичности, но все радостно и съ восторгомъ виталъ надходящого Мирослава, а Февронка якъ соловѣй щебетала и щоразъ бôльше увлекала въ сѣть Мирослава. Ôтъ первой встрѣчи вспыхнула въ немъ любовь до нѣжной дѣвчины, що была щирымъ дитятемъ природы, що зросла въ народѣ, который сокровищемъ былъ для него, що якъ полудика лѣсна рожа свобôдно розцвиталась пôдъ карпатскимъ небомъ, не знала выкôнченныхъ, рафинованныхъ желаній не упивалась модными наркозами духа, но тихо и въ дружбѣ съ чарующою природою сама чаровала сама незнаючи, яка чаровна сила въ ей живыхъ очахъ, въ ей беззаботнôмъ усмѣху и свавольныхъ словахъ. А при тôмъ сверкала все у ней якато высша душа, котра не могла самою лишь природою выродитись.

Якъ долгоожиданный скрѣпляющій маевый дощъ унылыи и роспаленныи цвѣты ôтсвѣжуетъ къ новому житью, такъ была любовь Февронки для Емирка тоюжь благодатною росою. Прибѣжища не знайшолъ ôнъ ни въ пикантнôмъ свѣтѣ, ни въ его выдумкахъ, ни въ ошоломляющôмъ моднôмъ ураганѣ, а киненый на идил-

личный берегъ свободы и щирости запалъ въ солодкій сонъ.

Народъ изъ села миналъ и на дальше старыи звалища и розсказовалъ все новыи приключенія и »чорныи дѣла« незнанныхъ силъ въ монастыри. Вѣсть ишла, що вѣдьмакъ въ видѣ гончаря стрѣтилъ на стежцѣ полонинской ведущой до мѣста молодого легиня и очаровалъ его розмариномъ и выварамъ зъ гечи-печи: сейчасъ потôмъ опустила легиня, его дорога Парася, ôтлюбила и полюбила другого чорнобрового а самъ легинь кинулся зъ отчаянія въ дебру и погибъ. — Нôчніи пастухи, що на берегахъ рѣки стерегли коней присягали на все въ свѣтѣ, що межи мавками и русалками провадившими свои игры на берегахъ рѣки видѣли увѣнчанную папоротею русалку изъ заклятого монастыря. — Многіи розсказовали, що видѣли наветъ, якъ гончарь тайкомъ ночею заводитъ дѣла изъ панами двôрскими, съ дѣдичомъ Краевскимъ и якимись контушовыми панами, що недавно пріихали зъ Кракова. То толковали селяне въ той способъ, що и красна а недобра панѣ дѣдичка Емилія такожь не иначе, но лишь ôтъ нечистого купила свою красу и уроду, и дальше держитъ съ нимъ заговоры.

И Мирославъ досмотрывалъ, що гончарь якто сносится съ панами а его скрытôсть, жаръ въ очахъ на вспоминку о минувшости и униканіе селянъ были въ противности до того восторгу, съ якимъ гончарь виталъ карпатскій свѣтъ. — Мирославъ видѣлъ лишь ину красу, красу, що свѣтомъ была для него, въ очахъ и усмѣху Февронки. —

О ей красѣ говорили много и въ мѣстѣ, где Февронка роботу свого батька и свои гафты на продажь носила. — Гуцулки славятся далеко своею красою и своими гафтами; но никто не зналъ такихъ гафтôвъ якъ Февронки. Вѣсть »о хорошой Гуцулцѣ« розôйшлась далеко и наветъ іозефинскій мундурованный мѣстовый староста италіанецъ, сказалъ що »не видалъ еще такой красы лиця«.

Соколицкій лѣсъ всегда виталъ своихъ бушующихъ орлôвъ а дичина не ставала уже здумлена, но пôзнавши своихъ вороґôвъ крылась межи яруги.

Мирослава не было кôлька дней въ монастыри. Гончарь скучалъ и ходилъ якъ несамовитый потупивши голову и на многіи вопросы не отвѣчалъ Февронцѣ: Такій былъ ôнъ, коли Емирко долшій часъ не являлся.

Солнце было на найвысшой точцѣ своего ходу и жарило пекучо, передираючись упорчиво въ веранду постарѣлого монастыря, въ котрôй Февронка играючи съ дикими голубами старалась зôгнати хмару изъ чола гончаря, стягнувшого брови.

Въ лѣснôмъ зрубѣ затрѣщало; Февронка вскочила и опершись о поруче веранды поглядала въ лѣсъ.

»Емирко« воскликнула она радôстно.

Емирко былъ въ минутѣ на верандѣ и поздоровилъ по обычаю.

»Ей, Емирку!« зачалъ гончарь заложивши руки и поглядаючи на землю »ей Емирку, а то не мôгъ я вже и мѣстця собѣ знайти; позабылъ бачь на Федишина!«

»Не позабылъ, Федишинъ, нѣтъ« отвѣтилъ Мирославъ »а такъ... отъ просто... Вы уникаете людей, та може и я вамъ не на руку.«

»Боже« заголосилъ Федишинъ и взялся за голову, »що вы не говорите, Емирку... Вы... я васъ... бывало... Боже, все то проминуло...« и Федишинъ стиралъ сѣраковымъ рукавомъ слезы. За хвилю повстыдался того, и прибравши сновь хмарный видъ сталъ на пôлъ ôтверненный ôтъ

Мирослава и поглядалъ въ полонины. Потôмъ взялъ изъ лавы топôръ и ôтдалился молчки въ лѣсъ.

Черезъ листя хмелю продерся голубъ и сѣлъ на рамени Февронки.

»Смотрѣтъ« казала она до Мирослава, смѣючись очима »смотрѣтъ, якій красивый и лагôдный той голубъ... То дикій а однако якъ дружескій ôнъ со мною... Тыхъ маю бôльше въ лѣсѣ и они всѣ мои улюбленныи...«

Она приближила руку съ просомъ и голубъ дружески принималъ даръ своей владѣтельницы.

»Ôнъ понимаетъ такожь и поцѣлуй« говорила дальше Февронка, но голубъ сполоханый полетѣлъ въ воздухъ.

»Ôнъ видно не любитъ васъ Февронка« сказалъ теперь смѣючись Мирославъ.

»Не любитъ? може быти, но я его всегда.« И она обернулась на обцасѣ свого сафянового черевичка.

»Я не въ правѣ: ôнъ любитъ васъ, и кто бы васъ не любилъ!«

»Отъ, не смѣйтесь« противилась Февронка и опершись о столпъ веранды мяла въ рукахъ зôвялый цвѣтъ лѣсного бозу.

Ôнъ склонилъ лице къ ней и чулъ чарующій

жаръ ей очей и лиця. Они нѣмо розмавляли и понимали себе.

Умучены кружили по воздусѣ горячôмъ ластôвки, а высоко по надъ селомъ уносилось скôлька бескидскихъ яструбôвъ, глядаючи изъ высоты добычи для себе. Бзовыи корчѣ, що росли пôдъ старыми мурами, усыхали ôтъ палящого солнця, а хмѣль обвившійся около столпôвъ веранды ослабъ въ своихъ объятьяхъ. Небо было чисте и прозрачне, а на далекôмъ горизонтѣ невыразно рисовались синявыи горы полонинскіи, що якъ митичныи недоступныи краины позволяли оку вдоволено спочити. Все голосило полноту лѣта и дня. Не холодно было и въ души Мирослава; то не былъ легкій повѣвъ вѣтру, що порушалъ его душу; горячо и съ силою тиснулись непевныи мысли и мучили душу. Но и солнце свѣтило для него усчастливляющо а поглядъ въ непевну будучнôсть дозволялъ души вдоволено спочити. Такъ былъ ôнъ въ краинѣ межи счастьемъ а сномъ, где не вѣримъ, що есьмо счастливыми, а есьмо счастливыми не знаючи о тôмъ. — Долго держалъ ôнъ руку Февронки, а нѣмыи взоры очей говорили голосно о правдивôмъ чувствѣ любви. Поцѣлуй соединилъ ихъ на вѣки.

VI.

Въ селѣ былъ часъ жнивъ. Золотисте море не покрывало вже нивы. Весь народъ изъ села былъ на поляхъ и тôлько панскіи економы и гайдуки крутилися якъ хитрыи зміи помежи хатами и выгоняли нагайками оставшихъ дома селянъ на ланы панскіи, где масы працюющихъ гôршой дôзнавали долѣ ôтъ надзорующихъ економôвъ, якъ невôльники въ набобскихъ плантаціахъ. —

По дорогахъ ôтъ часу до часу переѣзжали до двора дѣдича то косыньеры, то стара шляхта и розбирала плянъ революційный Мѣрославского, вожда, проклямуючи всюда манифесты. —

Лишь дорогіи синіи горы были безъ людей... Тамъ тôлько Емирко блудилъ, якъ демонъ по дикихъ краинахъ... Но ще не пропалъ былъ для него рай... передъ вхôдною брамою раю стоялъ ôнъ и страстно пилъ изъ рѣки Евное...

Ôнъ запустился далеко въ лѣсъ, що вже граничилъ съ травою полонинскою. Тымъ воздухомъ и не надыхаешь ся и здается, що нема тутъ смерти. — Запахъ смолы, дѣванны, кмину, дикого бозу и тимьяну складался разомъ на вонный бальзамъ.

Мирославъ былъ въ своимъ елементѣ. Съ восторгомъ повтарялъ ôнъ слова пѣсни о »тôмъ самôмъ лѣску« и о »коноплянцѣ...« но та пѣснь уступила иной, сердечной и плыла зъ полной груди. — Еще не окôнчились послѣднїи ей звуки, коли слабо якъ ангелскій въ дали ôтзывающійся хоръ дался почути отвѣтъ, дѣвичья пѣснь »Чи я въ лузѣ не калина была« а голосъ дрожалъ, якъ плачь дитяти, що засыпляючи вже въ блаженнôмъ спокою утихаетъ. — Николи такъ не уносился пѣснею Мирославъ, якъ теперь; ни искувственныи пасажи пѣвицъ, ни всѣ вибраціи и пяниссима ихъ не были для него тымъ, чимъ тая пѣснь, що въ тонахъ плакала и тужила якъ плѣненныи Херувимы, а однакъ середъ плачу смѣялась и пестилась надеждою.

Ôнъ поступилъ дальше; помежи зеленостію лѣса засіяли маковыи цвѣты Февронки, котра докôнчуючи пѣснь глядала будьто чогось пôдъ тѣнею смерекъ.

»Февронко« виталъ Емирко и сталъ подивляти ей стать и рухи.

»Надѣюсь, що поможете менѣ узбирати грибôвъ« говорила Февронка и пôдняла къ нему кошикъ: жизнь полна была зъ ей лиця: »Я

готова пôйти въ завôдъ съ вами, що вы ни одного правдивого гриба не знайдете.«

»И я такъ думаю« отвѣтилъ Емирко »такъ якъ я ничо не вижу, но якбы въ снѣ блукаюсь, однакъ принимаю закладъ.

»Спѣшѣтъ же.«

И они ходили по мягкôмъ лѣснôмъ коверци глядаючи грибôвъ, съ веселостію и свободою. Кôшъ наполнился.

»Будетъ!« сказала теперь Февронка »теперь можемъ ôтпочити. Я знайшла въ лѣсѣ за потокомъ мѣстце, котре и васъ певно одушевлитъ. Если хочете, пôйдемъ тамъ.«

»Ты на всегда будь моею провôдницею въ житью« и Мирославъ любовно поглядалъ въ ей очи.

»Не шутѣтъ, я вже разъ сказала.«

»Дрожу: но буду старатись, упросити сновь приклонности.«

»То невозможне.«

»Такъ? Я такъ великій виновникъ.«

»Нѣтъ« отвѣтила Февронка »но я не есмъ такъ великою владѣтельницею, щобымъ могла кого усчастливити моею приклонностію и сыпати объявы ей якъ цвѣты.«

»Певно нѣтъ, бо вы самы цвѣтъ, веснянка, що ростетъ въ роскошнôмъ урочищи.«

»Думаете, що менѣ чужіи цвѣты? Я певна, що ихъ свойства медицинскіи мнѣ лучше знакомы, якъ вамъ.«

Они были вже за лѣсомъ пôдъ горою полонинскою; Февронка пристанула, задержала рукою Емирка и зрываючи цвѣты изчисляла ихъ разборъ.

Преподаваній такъ прелестной докторки вѣчно былбы слухалъ Емирко, но за горою розлягся стрѣлъ и ôтбился стокротнымъ ехомъ.

»То мôй батько« сказала Февронка »ôтъ него я и зѣлья всѣ знаю. Але ходѣмъ; бо наше уроче мѣстце вже недалеко за горою; тамъ певно и батька стрѣтимъ.«

Выйшовши на верхъ полонины, ôтпочили они и смотрѣли на околицю. — Далеко видно было широкіи Карпаты; всѣ горы и лѣсы были незначною частею той пестрой мозаики, яку представляютъ Карпаты оглядаемы изъ полонинъ; тôлько Магура, Пикуль, въ дали темнѣющій Багноватскій лѣсъ и спичастыи Кичары владѣли надъ прочими горами, що никнули передъ тыми кольосами. Блестѣли мѣстцями и села, розложены по берегахъ гôрскихъ потокôвъ и рѣкъ, а тутъ и тамъ ôтзначался сновь то старопольскій псевдодвôръ то купола церкви, то старыи звалища.

»Якъ хорошо« сказала роскошуючи Февронка, приложивши руку надъ очи и поглядаючи въ даль.

»Хорошо, но я вижу еще краснѣйшій образъ«: ôнъ поглядалъ на Февронку.

»Сомнѣваюсь, абы вы коли узнали иный образъ краснѣйшимъ. Менѣ много батько розсказовалъ о чужихъ краяхъ и мѣстахъ, а однакъ самъ въ кôнци призналъ, що »нема якъ тутъ.«

»Правда« отвѣтилъ Емирко »и я видѣлъ не одну даму, не одну красу, но така дама, що на селѣ гинетъ ôтъ нудôвъ и ѣдетъ въ мягкомъ кабріолетѣ въ мѣсто, щобъ розôрватись якимъ гокусъ-покусомъ, не можетъ и рôвнатись съ образомъ красы и полноты жизни, якій теперь передъ собою вижу.«

»Вы плетете небылицы« ôтперла Февронка и потягнула Емирка въ дальшу дорогу спускаючись на долину спадистой горы. »Мы вже коло нашого мѣстця.«

Скоро перебѣгли они гору, потôмъ гущавину, перейшли потоки и вдирались на горбокъ порослый черницями и отѣненный смереками.

»Витайте, Емирку« кричалъ зъ горы чоловѣкъ съ ручницею въ руцѣ, съ убитымъ лисомъ

въ другôй. »Ходѣтъ, а покрѣпимся, а то, набѣгался чоловѣкъ, якъ волкъ.«

»Вы що-то убили?« спросилъ Емиркофедишина.

»Убилъ, та случайно... пôдбѣгъ, котюга, пôдбѣгъ, та и я не заспалъ, а стрѣлилъ въ самъ лобъ... Я рубалъ смереку... ужасъ, нашастался чоловѣкъ не мало... теперь будемъ держати лѣсный бивакъ... и провіантъ маемъ.«

Гончарь пôдпалилъ узбиранне рѣща и въ коротцѣ огонь обнялъ свою жертву; сперва продирался чорный дымъ, потôмъ пôдносились клубы прозрачныи, бѣлыи, а въ кôнци пламенѣли полно огненныи языки.

»Такъ тираны палятъ загороды« примѣтилъ гончарь »такъ тираны нищатъ народъ.«

Въ его очахъ заблысло.

»Вы то, Емирку, не понимаете. Ей Богу не понимаете... проклятый свѣтъ.«

»Вы далеко ôтъ свѣта« говорилъ Мирославъ »вы далеко ôтъ него и щожь ôнъ васъ обходитъ? А божь вамъ тутъ не добре?«

»Ой добре, Емирку... али вы того не понимаете... тіи тираны... правда, тутъ ся жіетъ!... але тяжко не мати своей нивы.«

»Убожеству можнабъ зарадити« сказалъ Мирославъ.

»Убожеству?«

Гончарь гôрко усмѣхнулся.

»Боже... убожеству... нищо скрывати... я Емирку не то... нѣтъ... у мене грошей естъ... цѣлый збанъ сорокôвцôвъ закопалъ... естъ того ажь ухами ся лѣетъ... але тираны тіи... свободы нѣтъ... не пытайте дальше...«

»Маете грошн, а такъ працюете?« дивовался Емирко.

»А якъ же бы жилося безъ того... обсыпъ чоловѣка и золотомъ а знай, не покинется своей сокиры и нлуга... Въ селѣ розлично за мене говорятъ, я знаю, и уникаютъ мене... тяжко то человѣку... но прійдетъ часъ... Але теперь отъ посилкуймося.«

Февронка повинимала изъ грани печеныи крамплѣ и всѣ забрались до такъ идилличной стравы.

»Отъ макароны« примѣтилъ гончарь обираючи бараболю »котры лучше смакуютъ якъ самы италіанскіи...«

И на дѣлѣ зникающіи »макароны« доводили ясно о немалôмъ степени симпатіи оказанной для нихъ черезъ консументôвъ, котрыи окôнчивши свôй идилличный пиръ ôтправились назадъ дорогою въ село.

VII.

Въ такой беззаботности проживалъ Емирко лѣтнїи дни и зналъ лишь одинъ свѣтъ — Февронку. Изъ слôвъ гончаря толковалъ собѣ, що минувшôсть его не была солодка, що зазналъ розчарованія и попращался съ свѣтомъ.

И въ домѣ родительскôмъ Емирка не было безъ житя: Наполеонистъ Платонъ вѣчно мучилъ Емирка политичными выводами и вычисленіемъ можливыхъ евентуальностей на случай зближающойся вôйны и критиковалъ детайлично министерство Сульта. — Тому всему съ точностію прислуховался сынъ, но, на оборотъ заховывался самъ якъ обскурантный посолъ въ соймѣ, отвѣчаючи на слѣпо »такъ здается будетъ« або »то возможне«. А коли отецъ окôнчилъ свои выводы, то сынъ не памятаючи и не чувши въ своимъ любовнôмъ снѣ ни одного слова изъ отцевскихъ толкôвъ, дѣлалъ примѣчаніе: »Но хорошо, але батько въ тôмъ взглядѣ за великій оптимистъ« или »пессимистъ« якъ до придатку. — Въ кôнци былъ ôнъ освобожденъ ôтъ батькôвской дипломаціи; отецъ то пôйшолъ въ поле до косарей, то продолжалъ лектуру, то въ шаласъ заглянулъ и сновь періодично ôтправлялся брычкою въ

мѣсто, щобъ закупити списанныи женою потребы, походити въ бецирку за своимъ дѣломъ або впрочемъ съ старымъ комисаремъ при стаканѣ токайского до сыта усмѣятись зъ обѣцянокъ Наполеона для Польщи.

Тогды однако впадалъ Емирко изъ Сцилы въ Харибду. Его любящая мати два разы пôдросла ôтъ часу явленія сына въ Домашовѣ. — Подарунки ôтъ сосѣдокъ (мающихъ дочери) сыпались до плебаніи Домашôвской якъ манна то въ видѣ чепкôвъ то пантарокъ, то мелонôвъ. — Праксевія наветъ стала думною на сына до той степени, що однôй сосѣдцѣ Гоноратѣ Зыбликевичовой ôтослала присланную въ дарѣ капузу, памятаючи на сбывшійся на однôмъ празднику межи ними спôръ, въ котрôмъ Гонората упорно увѣряла, що найстарша дочь декана проживаетъ вже третій крестикъ, хотяй носитъ еще коротку сукню; наколи попадя Платонова отверто свѣту голосила, що яко крестная мати дочки деканской найлучше знаетъ о ей ще молодомъ вѣку.

Праксевія была прототипъ попадѣ. Она была женьщиною, що якъ зъ неба упала для галицкою душпастыря и мала великіи шансы на деканову. — Въ кулинаріи славилась своими Великодними бабами, пляцками, въ огородництвѣ

своими ясеницкими бураками а въ житью найлучшимъ смысломъ пророчимъ що до супружескихъ увязненій.

Пропозиціи супружескіи не уставали. — Нова брычка желто плетенна, уносила Праксевію и ей сына по околицѣ съ визитными турами. Тутъ и тамъ, тамъ деиь, тутъ два, то на кавѣ, то на обѣдѣ, а где и цѣлый день пôсля свѣтлѣйшихъ або темнѣйшихъ видôвъ. — Мирославъ не противился любащей матери но що не видѣлъ ни одной дѣвы и не памяталъ ни одного слова, то зауважалъ такожь хитроумный гувернеръ у декана, котрый Лаватера зналъ на память.

До того былъ Емирко жертвою многихъ неудачъ. У декана вылялъ цѣлу филижанку кавы на сервету, зъ чого послѣ дочки декана голосно предсказовали, що до року не станетъ жадна зъ нихъ въ супружескомъ вѣнку передъ престоломъ. — У пароха Паращука такъ ся забылъ, що сѣлъ просто на канапу, по котрôй то причинѣ домовыи дамы не могли вздержатись ôтъ смѣху и былибъ на голосъ розсмѣялись, еслибъ въ тôй хвили не вступила въ комнату кухарка и не попросила панну до удѣленія наказôвъ въ кухни. (То былъ умышленный призовъ · значилось, домовыи дамы господарны, якихъ мало.)

Коротко: ему неодно неудачное случилось, всегда однакъ уходилъ ôнъ яко женихъ, надъ котрого ничь лучшого помыслити не дастся. Деканôвны знаходили его наветъ галянтнымъ и мечтательнымъ: (дамы, звѣстно, не любятъ наприкряющихся комплиментами конкурентôвъ). Праксевія же толковала его катастрофу съ кавою въ той способъ деканôвнымъ, що Емирко умышленно сдѣлалъ той епизодъ, абы довести неправдивôсть такого забобону, якій съ тымъ событіемъ полученый. — То была досыть значна пригрывка на обручины сына съ одною деканôвною. И теперь же по ôтъѣздѣ не было у декана кôнця кабаламъ: они певныи были, що получатъ зятя Мирослава. — Вѣсть рознеслась молнею по околицѣ, я коли Праксевія ôтвидала родину фервальтера, почула ôтъ нихъ благожеланія по поводу ôтличного выбору невѣсты. — Праксевія ôтпиралась, но то не помогло, — не увѣрили. (Таке дѣло, звѣстно, держится до самого кôнця въ тайнѣ: такій вже обычай.)

По поворотѣ изъ кождой визиты ставляла всегда Праксевія вопросъ; »Отжежь якъ подобается тобѣ Геня або Мися або Маня, якъ до названія. Стереотипно отвѣчалъ Емирко загально: »Не можна ей ничого закинути« або »До

ней можна призвычаитись« а въ прочемъ »ничого дама.

Успенскій пôстъ перейшолъ и сновь настала свадебна пора.

Одного вечера верталъ Мирославъ изъ монастыря и поступилъ въ плебанскій огородъ, где съ розъясненнымъ лицемъ выйшла ему насупротивъ изъ бесѣдки Праксевія держачи въ руцѣ якій-то листъ.

»Емирку« зачала она »деканъ поздоровляетъ насъ въ листѣ сердечно и называетъ себе надмѣрно счастливымъ, що можетъ въ короткôмъ часѣ ôтвидѣти насъ въ Домашовѣ. Розумѣешь ты, о що тутъ ходитъ?«

»Домышляюсь по троха.«

»Но,« сказала она, сложила листъ, взяла сына пôдъ рамя и проходжаючись по стежкахъ огорода вела на ухо Мирославу сильну агитацію за одною изъ дочокъ декана.

»Но, листъ не естъ ничь иного, якъ тôлько посредственною ознакою, що деканъ хотѣлъ бы тебе мати за зятя. — Тобѣ отже остаетъ теперь лишь позыскати приклоннôсть панны у насъ, а потôмъ поѣдемъ отверто въ сваты и дѣло скôнчене.«

Мирославъ молчалъ.

»Сробишь то?« наставала мати.

»Та то бы... не було зле...« говорилъ поволи Емирко скубаючи урванный листокъ.

»Але?... Може она тобѣ не подобается?«

»Не совсемъ.«

»А но то Фильця Паращаковна, то такожь дама якъ цацко. Передъ Рождественскимъ постомъ ты долженъ скôнчити дѣло женитьбы. Може и противъ Филомеы що маешь? То въ кôнци може Ольга? Подумай О-о-льга, що за имя! словно О-о-льга!«

»Властиво... но.«

»Я знаю, знаю« говорила Праксевія поглядаючи ему въ очи »отверто сказавши ты любишь ину даму... невно зъ мѣста... Боже борони тебе ôтъ того, а може ще и не Русинка... Мѣйскіи дамы не сутъ добрыми женами... А впрочемъ на що ажь тамъ глядати... у насъ естъ много попадянокъ... то вже входитъ въ моду, що съ чужими женятся, але зважь, що зъ нашой родины ще никто не побрался съ иною якъ лишь съ попадянкою.«

Они прійшли въ бесѣдку и сѣли.

»То правда« отвѣтилъ задумавшись Емирко, »и я такъ же думаю... Мѣйскіи дамы не бываютъ добрыми женами... они не умѣютъ полу-

чити своего степени розвою съ вымогами житя практичного... То у нихъ мало-коли случается.«

Мати съ горячою любовью поглядала на сына, потôмъ встала и сложила поцѣлуй на его чолѣ.

»Такимъ менѣ подобаешся« сказала она »но я не хочу тебе мучити вопросами о твоихъ чувствахъ, я тіи уважаю и почитаю, для того лишаю тобѣ время до намыслу, тутъ або тамъ, або якъ думаешь... але деканôвна была бы незгôрша... уважай тôлько, яку талію она маетъ а якъ хорошо спѣваетъ »Я въ вечеръ въ лугахъ гуляла.« Намыслись!«

Она оставила самого Мирослава. Ôнъ споглядалъ за нею, якъ споглядаемъ на особу, котору любимъ а котрой не хочемъ сдѣлати хотьбы найменьшой прикрости. Ôнъ пôзналъ, що желаніемъ любящей матери естъ, видѣти сына счастливымъ съ женою, и що избранной нею партіи все добре треба признати. Но образъ нѣжной и сердечной Февронки на всегда занялъ его душу.

Ôнъ зналъ консервативнôсть своихъ родичей, котрыи, якъ далекіи были ôтъ вдиранья въ панскіи сферы, такъ зъ другой стороны еще дальше держались ôтъ народа. Они не знали еще назы-

вати родившогося пôдъ хлопскою стрѣхою своимъ братомъ.

Отрясаючись изъ тыхъ мыслей всталъ Мирославъ и выйшолъ изъ бесѣдки, коли почулъ голосъ свого батька, котрый въ огородовыхъ воротахъ розмавлялъ съ малымъ Чико, тримаючи въ руцѣ газету.

»Емирко« закричалъ Платонъ до сына, взываючи го рукою »я казалъ тобѣ, що на щось недоброго заносится... шляхта менѣ пôдозрѣла... Чико розсказуетъ, що видѣлъ коло дватсятъ косыньерôвъ узброенныхъ, котрыи заѣхали въ двôръ дѣдича... а потôмъ... що, хлопче дальше? докôнчи.«

»Ей« ôтказалъ Чико, глипнувши очима »я лишь хотѣлъ сказати, якъ то насъ цыганôвъ всюда вытручаютъ, а якогось обшубравця, мабуть ôвчаря румунского принимала нынѣ панѣ дѣдичка въ салонахъ.«

»Въ салонахъ? А то сновь где чулъ ты« поспыталъ остро Платонъ.

»Я не чулъ, но видѣлъ, теперь зъ двора вертаю. Панѣ дѣдичка стрѣтила мене въ лѣсѣ, взяла до двора и казала передати молодому паничови отъ тое письмо... тутъ листъ.«

Мирославъ взялъ листъ и покраснѣлъ на

лици. Чико ôтбѣгъ а Платонъ ничо не ôтзывался, лишь затопился въ газетѣ. Мирославъ зломилъ кувертъ и вынялъ письмо.

»Чи она тамъ перфумову аптику тобѣ прислала?« ôтозвался Платонъ не ôтводячи очей ôтъ газеты и легко усмѣхаючись »бо дѣйстно, хотай я табаку заживаю, то мало що не омлѣю ôтъ сильной вони пачули, яка изъ того письма бьетъ.«

Мирославъ усмѣхнулся.

»Емилія Краевска приглашаетъ на ловы въ Соколицкій лѣсъ.«

»И ты пôйдешь?«

»Нѣтъ.«

»Очевидно — нѣтъ« розумовалъ батько »то за великое панство для насъ. Ты впрочемъ ходишь часто на ловы?«

»Такъ.« Мирославъ розумѣлъ, що прійшолъ часъ, абы разъ и отецъ зналъ о Февронцѣ. »Мы ходимъ въ Соколицкій лѣсъ съ гончаремъ, що мешкаетъ въ старôмъ монастыри.«

»Съ гончаремъ?« Платонъ удивился и поднесъ очи на сына. »А щожь ты маешь съ простакомъ до дѣла?«

»Ôнъ хоть простакъ, але чоловѣкъ, якого не легко знайти.«

»А комедія! То менѣ ся не случало. Простый зарôбникъ ôнъ и хлопъ: новиній зъ тебе фатальный!«

»Отче, твои погляды може и добры и я не оспориваю ихъ, но позволь менѣ и моихъ не змѣняти.«

»Про мене!« отвѣтилъ Платонъ, стягнувши раменами.

»И еще дальше« продолжалъ Мирославъ »хочу быти отвертымъ, я чую, що невозможно, абымъ передъ тобою, отче, не сказалъ всего.«

Платонъ зложилъ газету, заложилъ руки и станулъ, ожидаючи дальшихъ слôвъ сына.

»Говорю безъ вступу. Гончарь маетъ дочку Февронку, яка то дѣва, пôзнаешь, отче, самъ и признаешь ей все добре; то дѣвица, у котрой сельскость, непринужденность, свобода и идилична сердечность получены съ добротою, розсудкомъ, нѣжностію и — образованьемъ души. И попадянка могла бы передъ нею повстыдатись. Для ней чувствую горячу, чисту любовь... и онабъ съ благодарностію назвала тебе своимъ батькомъ.«

»Що ты не плетешь сыну?«

»То, що маю на мысли.«

»Комедія, но!« воскликалъ Платонъ плеснувши въ руки »кажу фатальныи новиціи. Але то

звыкло молоде, то розличне му снуется по головѣ. Оно перейдетъ. Съ часомъ вышумятъ тобѣ зъ головы всѣ тіи путанины: Отже и не споминай мнѣ за то сыну другій разъ. Демяновскіи ôтъ роду женились по попôвскихъ дôмахъ.«

»Февронка духомъ высше стоитъ, якъ не одна городска дама.«

»Все одно. На дармо. А теперь отъ, малъ я тобѣ щось препоручити. Поѣдешь до мѣста. Нынѣ розбираютъ ôвцѣ зъ мого шаласу, тожь я не можу выдалитись; поѣдешь ты. Тамъ дасть тобѣ мама цѣлый списъ, що маешь накупити (здается, приѣдетъ деканъ) а потôмъ пôйдешь и до бецирку за моимъ дѣломъ.«

Отецъ и сынъ молчки выйшли зъ огороду, а Чико приготовлялъ все до выѣзду.

Коли видимъ, якъ дерзкою есть судьба, коли въ очи смѣется изъ чоловѣка и шутитъ, запроваджуючи его въ краину мукъ, то повстаетъ въ насъ безчувствительный станъ, якъ здрадлива тишина передъ бурею, но иныи побудженія такожь не спятъ, лишь розгрѣваютъ чоловѣка и ôнъ страстно хватается цѣли, якъ пропадающій свого избавителя. —

Безчувственный сидѣлъ Мирославъ на брычцѣ, котра поволи по скалистыхъ циркуловыхъ

дорогахъ точилась до мѣста. Весь бôль скрылъ ôнъ въ собѣ; вже такій былъ. Усмѣхающійся аморъ улетѣлъ ôтъ него, а на душу засунулась чорна заслона. —

Долгою была для него подорожь и мучительною, а однакъ не зналъ, длячого не маетъ спокою и где потôмъ остановится.

Худыи, якъ у кождого галицкого священника, конята драпались що силы по вертепахъ. Чико клялъ то камеральныи дороги, то нужденныи конята и бормоталъ пôдъ носомъ: »То раки, не конѣ, якъ маю пôдъ собою дике гача, тогды якъ разъ рай.«

Раки станули въ кôнци въ мѣстѣ. Сейчасъ збѣглися жиды и пытали то за телячими скôрами, то за ячменемъ а иныи, пôзнавши конѣ пароха домашôвского, знимали почтительно шапки и робили тысячныи предложенія. Стара »балбуста« сплюнула кôлька разôвъ, щобы не уречи »красного« сына домашôвского.

Зачимъ надôйшолъ часъ до ôтъѣзду, пустился Мирославъ улицею. То было мѣсточко, котре Люциперъ закрылъ хвостомъ, коли кусилъ земними добрами Спасителя. На тѣсныхъ, чорными окопченными хатами и будамы ôтграниченныхъ улицяхъ роились жиды, а межи ними селяне и

селянки, що прійшли до мѣста, абы продати мотовило прядева, або мѣтлу, купити за то топку соли, прочое пропити и съ ничѣмъ вернути до дому.

Мѣстцями вызыралъ усатый ревизоръ, що будьто оглядалъ продукта и теребилъ макôвникъ, удѣленный му яко скромный даръ ôтъ Сары або Нухмы.

Мирославъ робилъ въ воздусѣ колеса лѣскою и очутился доперва, коли почулъ ударъ рукою по своимъ рамени.

»Емирко Демяновскій! Сакрадіотъ! Ледво пôзналъ я тебе« говорилъ прилучившій ся до Мирослава худорлявый мущина въ урядовôмъ сурдутѣ съ жолтыми запинками, съ червоною хусткою пôдъ шіею, въ канцелярійной шапцѣ и съ бюрократски закрученнымъ усомъ.

»Еге!« шепталъ дальше товаришъ »не пôзнаешь мене? Якимъ былъ ты въ школахъ, такимъ и осталъ. Но потѣшайся, република воскреснетъ незадолго.«

»Чи не Иннокентій Кропива« запыталъ Емирко.

»Ага! пôзналъ-есь мене, але ходи?«

Ôнъ тягнулъ Мирослава за собою якъ Виргиль Дантого по адѣ. И новый Данте повиновался ему совершенно, часомъ пôдъупадалъ въ

вѣрѣ, но сурдутовый Виргиль потягалъ его дальше. Улицы были дѣйстными адскими кругами, а крутились по нихъ и діаволы, и страдающіи тѣни въ гунькахъ, выссаны діаволами. Круги скôнчились и передъ ними стояла величезна »керниця« остатного круга, зъ котрой а радше въ котрой льется вода бакхусова.

»Тутъ наша цѣль« сказалъ Виргиль до Дантого, »чи видишь надпись?«

Кропива потягнулъ свою жертву въ шинковую комнату (комнатою еще можна то назвати) и теперь наступила яко вступъ кальмусôвка а потôмъ нескôнченное винобраніе.

»Пій брате Емирку, пій, тымъ всю журбу забьешь« говорилъ Кропива.

»Хиба такъ.«

»Повѣрь! Я то и жену маю и дѣти, а тутъ у Мошка найлучша моя потѣха«

»Якъ, Иннокентій, хиба не любишь жену и дѣти?«

»Любити? Фе! а тобѣ що такого; говоришь якъ дитина: Надоѣстся такъ то все, що ажь житье не миле. Я отъ добре собѣ роздумавши постановилъ стати въ рядъ съ повстанцями, и тамъ глядати счастья: лишь троха кульки боюсь.«

»А бôльше ничь не спиняетъ тебе?«

»А щожь-бы?«

»Здрадникъ!«

»Еге! а карьера? говори, що хочешь. Плянъ Мѣрославского удастся. Я прилучаюсь до ôтдѣлу, котрый провадити будутъ Краевскій и той гончарь.«

»Що?«

»Якъ що?«

»Гончарь?«

»А той отъ изъ вашого села изъ Домашова... нѣбы гончарь!... а то просто емигрантъ Лясковскій... такихъ псевдоремѣсникôвъ маемъ тутъ теперь много... то кравцы... то гандлярѣ... то по просту маскованныи повстанцы и емигранты... такъ мусятъ скрыватися... а и той гончарь такій.«

»Глупецъ, великій глупецъ я и слѣпый!« вскричалъ Мирославъ ударившись по чолѣ »о я глупецъ!« Ôнъ взялъ капелюхъ и выбѣгъ изъ комнаты оставляючи зачудованного Кропиву.

Якъ шаленный бѣгъ ôнъ по улицяхъ, не зважаючи на ничо, ни на людей, що ставали на улицѣ и стискали раменами, ни на товариша, що зъ далека призывалъ его, и такъ дôстался до своей брычки, где Чико вже ожидалъ свого пана.

»Боже« сказалъ ôнъ до себе вертаючи до

Домашова »и я такъ былъ обманеный! Такъ сильно обманеный! О змія, не Русалка, о пôдлецъ, а не праведный чоловѣкъ! Гончарь то панъ замаскованный, ворогъ, а она —«

VIII.

По повѣтахъ начались численныи арестованія. Зъ Кракова переходили повстанцы въ восточну Галичину; Коллинъ министръ и староста львовскій Мильбахеръ начали противодѣйствовати.

Легкій иней покрывалъ землю и дерева, снѣгъ слабо порошилъ а пôлнôчній вѣтеръ морозно потягалъ въ воздусѣ. Мирославъ взялъ ручницю и пôйшолъ въ лѣсъ. — Молчки зайшолъ ôнъ въ пустыи комнаты монастыря, котрыи иначе теперь промовляли до него; въ протискающôмся черезъ коридоры и дѣры монастыря вѣтрѣ чулъ ôнъ хоръ ворогôвъ, а голосъ пугача пригадовалъ чорныхъ крукôвъ, що ждутъ на добычь. Ôтъ грубыхъ зимныхъ мурôвъ вѣяло гробомъ, а статуы Алойзого и Савины ще бôльше здавались почорнѣлыми и ôтстрашающими.

Съ гôркою улыбкою и замраченнымъ взоромъ, вступилъ Мирославъ въ комнату гончаря. Фе-

вронка сидѣла коло малого ôкна, схиливши голову надъ мережанною роботою.

Еи грудь волновалась, коли Мирославъ сталъ коло ней а маковыи цвѣты на лици то пламенѣли, то блѣднили.

»Вы, Мирославе« зачала она дрожащимъ голосомъ »вы долго казали менѣ мучитись, не являючись.«

»Мучитись?« вопросилъ строго Мирославъ »хиба я здѣлалъ яку пакôсть вашому ôтцю або вамъ?«

Она съ недоумѣніемъ подивилась на Мирослава. Николи не говорилъ ôнъ такъ зимно. — Она усѣла и схилила сновь головку надъ роботою. — Молчала Февронка, но ей дрожащіи уста и живыи очи явно говорили. — Молчаніе ей, нѣжнôсть и правдивôсть въ очахъ затуманили Мирослава:

»Она маскою?! Нѣтъ, то не возможне,« сказалъ ôнъ до себе »Февронко... не потребую тобѣ казати... ты знаешь... и кто бы тебе не любилъ?... Я люблю тебе... но и проклинаю тую встрѣчу, въ котрой тебе побачилъ... проклинаю...

»Боже, що вы говорите?« спытала несмѣло Февронка.

»Безъ обиньякôвъ. Февронко, если могу просити у тебе слôвъ правды, кто твой отецъ?«

»Отецъ? якъ-то?«

»Не укрывай: скажи отверто. Признай, що и ты не такою, якою мнѣ являешь ся.«

»Я васъ не понимаю« сказала дѣвчина а ей спокôй впровадилъ Мирослава въ еще бôльшое недоумѣніе.

»Я маю на мысли« заявилъ ôнъ »чи ты всегда была такою селянкою, якъ теперь: — пытаю про твою минувшôсть.«

»Минувшôсть мою, розскажу вамъ, если схочете« отвѣтила Февронка задумавшись »Якъ бы черезъ сонъ пригадую собѣ дитинніи лѣта... передъ мною пересуваются дивныи образы... непростыи хаты... но комнаты съ коверцами и богатыми драперіами... потôмъ подорожь черезъ долгіи степы... и сновь житье въ чарующихъ горахъ... Тамъ жила я свобôдно съ моею ровесницею... дочкою мадярского пана... потôмъ отецъ переселился со мною въ Унгваръ и зъ того мѣста тутъ.«

»Щобы? —«

»Якъ? щобы?«

»Я пытаю, яка цѣль у батька въ послѣдной подорожи.«

Смѣхъ попередилъ отвѣтъ.

»Вы дивны, яжьбы мала пытатись батька о цѣль? Ôнъ добрый, дуже добрый батько... и я люблю его незмѣренно... но при тôмъ и боюсь его... ôнъ всегда былъ скрытый передомною... о своихъ дѣлахъ не вспоминалъ и не толковалъ николи со мною и уникалъ наветъ того... Тому я и не пытаю его николи о ничо... а тôлько разъ поспытала я его о мою матерь, тогды ôнъ проливалъ слезы, лише поцѣловалъ мене... и плакалъ сновь якъ дитя...«

Она перестала. Ей голосъ дрожалъ а въ очахъ появились перлы.

»То ты не знаешь ничь о твоей матери?« спросилъ Мирославъ.

»Ничь.«

»Значитъ все разомъ, твôй батько — скиталецъ, емигрантъ, повстанецъ.«

»Мôй батько хлопъ изъ пôдъ стрѣхи, а теперь зарôбникъ: працюетъ, хоть и грошей у него досыть.«

»Неправда« закричалъ Мирославъ, затиснувши руки и понуро поглядаючи »не обманишь

однакъ мене!... И ты одна изъ тыхъ, що хочешь владѣти надомною... що плѣнилась мене... но хоть тяжко... а вырвусь...«

Двери лопнули и гончарь обсыпанный снѣгомъ, вôйшолъ въ комнату задыханный ôтъ подорожи пѣшой.

»Отъ, Емирко Платоновичъ, добре« сказалъ ôнъ, обтрѣпуючи снѣгъ »гей добре. Въ лѣсѣ появился котюга медвѣдь... заведеяка кажу... такъ менѣ возьный повѣдалъ, которого надыбалъ я на стежцѣ до мѣста... А то возьмемъ завтра ручницы и оба такъ на присадки...«

»Та пôйдемъ, пôйдемъ« ôтвѣтилъ, гôрько усмѣхнувшись Мирославъ.

»Пôдберемся, а кажу вамъ, то будетъ рай... ехъ!« Въ его очахъ сновь загорѣло.

Мирославъ не могъ ніякъ погодити всѣхъ тыхъ противорѣчій и заклявши покинулъ комнату и выйшолъ на веранду. Тамъ была вже Февронка съ збаномъ въ рукахъ и по обычаю тихо усмѣхаючись спускалась на дôлъ сходами разомъ съ Мирославомъ.

»Думаете, що я боялабысь медведя?« поспытала она съ шутливою улыбкою.

»Надѣюсь« отвѣтилъ глухо Мирославъ.

»Ошибаетесь... лѣсъ моею отчиною... я тутъ якъ дома«

Они сближались до керницы.

Мирославъ хотѣлъ отвѣтити, но въ хвили почулъ за собою дикій смѣхъ... ôнъ чулъ вже той смѣхъ, а ехо лѣсное было то само... Емилія Краевска станула передъ нимъ съ своими чорными очима и ироничною улыбкою.

»Ты Германъ, неправда?« говорила она съ сарказмомъ, вывиваючи лѣсочкою и поглядаючи завистно на Февронку »и провадишь свою Доретею по скалахъ? неправдажь?«

Она съ укоса поглядала на Февронку.

Но тая набравши воды зникла, якъ легкій мотыль поступивши на веранду.

»Ты думалъ« говорила теперь Емилія »що я оставлю тебе въ спокою? Що моя любовь уложилась? Ты думалъ що моей любви уйдешь?«

Она плеснула въ руки.

Кôлька гайдукôвъ прискочило и приняли ся сейчасъ за свое дѣло. Они связали Мирославу руки и онъ очутился доперва въ крытôмъ кабріолетѣ. Кабріолетъ гналъ дорогою а коли повозчикъ застановилъ арабôвъ передъ дворомъ Краевского, отворились двери ôтъ повозу,

тіи самыи гайдуки взяли Мирослава пôдъ руку и впровадили въ двôръ.

»Въ кôнци маю тя« сказала Емилія, сѣдаючи на фотель противъ Мирослава »скажи теперь, що вже разъ передъ мною — бьешь любовный поклонъ.«

Мирославъ сидѣлъ нѣмо въ фотелю и не ôтзывался.

»Чоловѣче« продолжала по хвили дама въ котрôй вже показовались признаки злости »скажи теперь — що обожаешь мене.«

Молчаніе было отвѣтомъ.

»Огиднику« степеновала Емилія »скажи — що почитаешь мене.« Но и на то не отвѣчалъ Емирко.

»Псе!« крикнула Емилія, стиснувши конвульзивно руки и пôднесшись зъ фотелю. Но въ минутѣ розъяснилось ей лице, руки упали безсильно, и сновь ясный взôръ слѣдилъ мученика.

»Нѣтъ« зачала она нѣжнымъ голосомъ »але теперь мой Мирославе, скажи лишь, що мене любишь.«

Все сбывшоеся ошоломило Мирослава а тутъ стоялъ демонъ коло него.

ньщино« зачалъ Мирославъ »Емиліо... ломляешь, ты хочешь мене ошоломити. тобѣ правду сказати... то знай, що я ко не люблю тебе но просто ненавиджу.«

, стягнувши брови, ôтступила.

хлопъ! простый хлопъ — то за много — льоху съ нимъ.« Она плеснула сновь въ руки. Гайдуки явились.

»Приказую вамъ, возьмѣтъ того хлопа до льоху... того пса... не конецъ... потôмъ нападете на плебанію и свяжете такъ же и попа и попадю, всѣхъ ихъ до льоху!«

Сталось по ей приказу. Гайдуки повели Мирослава въ пôдземный льохъ, где темно было якъ и въ его души.

Насталъ вечеръ. У пароха Домашôвского слабо свѣтился каганецъ: сивый Платонъ ôтмовлялъ проходжаючись по комнатѣ вечернюю молитву, а Праксевія кôнчила пасіансы.

Гайдуки съ крикомъ напали на спокôйну загороду, побушовали и понищили все, а стареньку пару взяли точно въ турецкій полонъ.

Перестрашенна служба Платона покинула дôмъ и порозбѣгалась по селу а гайдуки смѣялись по адски и тѣшились видомъ огню, котрый

обнялъ всѣ плебанскіи будинки и запурпурил небо и чорнявыи хмары.

»Теперь до двора! — будетъ намъ ясно« росказалъ економъ, проводирь гайдукôвъ, а самъ на пôлъ пьяный поволѣкся до громадской корчмы.

IX.

Надôйшолъ ранокъ памятного дня, котрый шляхта назначила на день свого спасенія. Былъ то ранокъ по ночи, въ котрôй плебанôвскій дôмъ свѣтилъ яснымъ свѣтломъ селу.

Шляхта рѣшилась на що нибудь, незважаючи на частыи неудачи и противодѣйствіе. Шеля съ своими бандами дался имъ вже добре въ знаки, но они потѣшались малыми побѣдами въ декотрыхъ сторонахъ. Вѣсть о пораженію австрійского войска органистою Андрусикевичемъ и Капланомъ Кметовичемъ, а дальше добрый успѣхъ Висневского и высланна зъ Кракова помôчь пôдъ вождомъ Сухоревскимъ казали инсургентамъ не тратити надѣи.

Рано еще прикликалъ Краевскій до двора вôйта писаря и присяжного и угостивши ихъ кальмусôвкою, давалъ розпорядженія. Цѣле село по наказу дѣдича, мало стати на сборномъ мѣстци

— на двôрской луцѣ. Кто лишь мôгъ двигати щонибудь, якенибудь оружіе, долженъ былъ явитись на луцѣ... Старшина громадска выйшла изъ двора въ село, незнаючи, що съ тымъ наказомъ дѣлати и до чого то доведетъ? Но за нихъ сполняли вже давно долгъ економъ, мандаторъ и гайдуки, котрыи бѣгали по селу, и всюда голосили наказъ, обѣцюючи розличныи дива. Где слово не помогло, тамъ приходила въ помôчь нагайка або кайданы. Село порушилось: старцы кивали головами и вспоминали комету, а жены и дѣти плакали и заводили. Не знали селяне, що дѣлати а сивый панъ-отецъ сидѣлъ въ льоху.

Година сбору сближалась. Народъ выгнанный нагайками изъ хатъ, посоловѣлый и незнаючи, що хочутъ съ нимъ дѣлати, выйшолъ съ косами, цѣпами, топорами и ручницями на луку, где вже готовыи стояли на коняхъ перфумованныи гоги, становившіи теперь народове польске войско. Заплаченный жидъ крутился межи собранными селянами и честовалъ по своему. Всѣ чекали на провôдникôвъ.

Изъ двôрской оборы показались два ѣздцы и станули передъ собраннымъ войскомъ. Одинъ въ контуши, слуцкомъ пасѣ и бобровôй шапцѣ,

дѣдичъ Краевскій: а другій барчистый мущина съ чорною пôдстриженною бородою въ такôмъ самôмъ нарядѣ — то гончарь изъ заклятого монастыря. Въ его очахъ палаетъ той дивный огонь.

Кôнное войско закричало на все горло, привѣтствуючи своихъ вождôвъ.

Краевскій и гôнчарь ôтклонились шапками.

»Брате Лясковскій« ôтозвался теперь Краевскій до гончаря »якъ поведемъ ихъ теперь? Хлопы пôйдутъ на передъ, неправдажь, а наше войско будетъ ити за ними въ резервѣ.«

»Добре« отвѣтилъ гончарь »я поведу хлопôвъ на передъ и нападемъ на циркуловое мѣсто: а ты съ своими кôнными будешь въ дали за нами поступати и станешь въ лѣсѣ коло креста: зъ ôттамъ якъ лишь побачите мѣсто въ огни, впадайте за нами и дѣло будетъ скôнчене.«

»Отлично« заявилъ Краевскій, котрому подобалась роль резервисты. »Спѣшѣтъ!«

Гончарь потиснулъ острогами коня и приѣхавши передъ собранну громаду, злѣзъ, приступилъ до вôйта и началъ ему шептати до уха. Посоловѣлая тварь вôйта розъяснилась и ôнъ, станувши передъ своею громадою ôтозвался: »Гро-

мадо! идѣтъ за тымъ чоловѣкомъ: где ôнъ, тамъ и вы.«

»Боже!« почулись голосы, »Маковикъ, знахоръ, сидитъ на кони... вѣдьмакъ. А то — чи не прійшолъ антихристъ?«

Но вôйтъ поговорилъ съ присяжнымъ, той съ сосѣдомъ и въ кôнци всѣ пôйшли за »знахоромъ«. — Народове войско осталось по заду и доперва по часѣ рушило въ лѣсъ. —

X.

Гончарь станулъ съ громадою на дорозѣ лѣсной коло креста. Тогды его очи помрачились якоюто счастливостею, ôнъ обернулся до селянъ и знялъ шапку.

»Люде« зачалъ ôнъ доноснымъ голосомъ »люде мои... я не той, якимъ вы мене видите... я и не панъ... нѣтъ... я вашъ братъ... Трофимъ Семякъ... сынъ Василя Семяка... изъ вашого села, що мешкалъ на обочахъ! Не будемъ братя ити рука въ руку съ панами, но ôтчину, родный край будемъ ратовати. Не пôйдемо дальше а лишь ôтступимъ тутъ до лѣса и полагодимся съ панами. За мною братя!«

Селяне познимали капелюхи, перекрестились

и дивуючись появленію пропавшого передъ двадцяти лѣтами Семяка, удались за нимъ въ лѣсну гущавину.

По короткôмъ часѣ задуднѣла земля и зачимъ народове войско змогло съоріентоватись, вже обступили ихъ селяне, поôтнимали оружіе и повязали руки. То само сробилъ Семякъ гончарь и вôйтъ съ Краевскимъ, котрый тôлько скреготалъ зубами и проклиналъ. Семякъ приступилъ теперь до него и ôтозвался:

»Но, Ромуальдъ Краевскій, пôзнаешь теперь Семяка?... еще памятаешь Ирину, мою Ирину...«

»Чорте!« проклиналъ Краевскіи »о ты псе!«

»Тобѣ станется, що по справедливости тобѣ належится теперь... моя Ирина далеко еще не помщена... но за то получишь где инде надгороду« сказалъ Семякъ, указуючи на небо.

Повязанныи инсургенты были ôтданы до циркулу въ руки справедливости а селяне вернули до села, дякуючи Богу за появленіе Семяка и потѣшаючи жены и дѣти, котрыи теперь со слезами радости витали своихъ.

Но Семякъ съ вôйтомъ и старшиною не спочивали: еще терпѣли жертвы, за котрыхъ кождый изъ села далбы душу. Никто не спинялъ

ихъ въ воротахъ двôрскихъ, никто не проганялъ ихъ хортами. Толпа людей наполнила двôръ. Семякъ съ вôйтомъ и присяжными вôйшли до будоару Емиліи, а за ними розгоряченна толпа народа.

Въ комнатѣ не дѣвичій хоръ спѣвалъ, но жертвы мученныи стогнали.

Гайдуки по приказу своей панѣ острыми кнутами и нагайками краяли немилосердно обнаженныи плечи жертвъ а Емилія съ страстнымъ удовольствіемъ въ очахъ, придивлялась тому...

Жертвы терпѣли и молчали.

Вôйтъ, присяжный и люде упали на колѣна передъ своимъ старымъ отцемъ духовнымъ и зарыдали.

»Спокôйно дѣти« говорилъ слабымъ голосомъ Платонъ, якъ говоритъ сивый путникъ, що вже стоитъ надъ гробомъ и шепчетъ послѣднюю молитву.

Иначе справился, гончарь: на пôдлозѣ лежали уже въ крови головы гайдукôвъ, постинанныи его рукою а туловы упали якъ пôдтятыи дубы.

Передъ дворомъ дался чути крикъ и замѣшанина. Черезъ толпу передиралось кôлька селянъ съ головнымъ чобаномъ, съ топорами въ рукахъ и впали до комнаты.

»Где она? где?« кричали они стискаючи топоры въ рукахъ: ихъ лица розгорѣли, долгій волосъ попалъ въ неладъ а на рукахъ видно было знаки крови.

»Чекайте« усмирялъ ихъ Семякъ, увидѣвши, що топоры вже свищутъ въ воздусѣ, змѣренныи на дѣдичку, »чакайте, опустѣтъ топоры. То не годится. То слаба женьщина, безборонна; не годится ей нападати; она за свое получитъ где инде заплату, а такой слабой женьщины намъ не годится нападати. — Возьмѣтъ отця духовного и родину и постарайтесь, щобъ загоились дорогіи для насъ раны... Досыть вже крови.«

Толпа успоконлась немного и люде освободили дорогіи особы ôтъ мукъ.

Въ будоарѣ осталась Емилія и Семякъ гончарь.

»Здрадникъ! Лясковскій!« кричала она.

»Не есмъ ніякій Лясковскій« отвѣтилъ строго гончарь »есмъ Трофимъ Семякъ, но ты не знаешь всего... еще дитиною была ты тогды... Смотри, одинъ свистъ шабли и ты не жіешь... и ты варта того: но жій, бо житье будетъ бôльшою карою для тебе, якъ смерть! Жій и знай, що цѣле село тебе проклинаетъ.«

Ôнъ выйшолъ, трѣснулъ за собою дверьми и

явился на оборѣ. Тамъ бенкетовали розгоряченныи селяне, а побôчь лежали трупы повстанцевъ, косыньерôвъ, котрыи поутѣкавши изъ другихъ доменъ не хотѣли дати связатись добровôльно и ôтбивались оружіемъ ôтъ народа.

Но не всѣ еще лежали мертвы. Помежи трупы добирался головный чобанъ и несъ въ рукахъ чобанôвскій рôгъ наполненный водою.

»Куда?« пыталъ гончарь.

»Ходѣтъ, тамъ Румунешти умираетъ: отъ, видѣлъ кто, Румунешти, той самъ, що разъ въ нашôмъ шаласѣ ночовалъ... Тогды по нашому ани чичиркъ, ни слова не зналъ сказати, лишь Румунешти тай Румунешти, Валахъ значилось изъ Валахіи... а то вамъ где Румунъ! Повстанецъ такій якъ тіи всѣ... Лежитъ тамъ не въ войлоку а въ кабатѣ... пôзналъ мене и просилъ воды... Тожь и несу зъ жерела... най жіетъ...«

И чобанъ приближился до усатого повстанца.

»Пій, Румунешти!«

Но Румунешти вже не отзывался, былъ мертвъ.

Село сновь порушилось; селяне ходили толпами по дорогахъ и ставали то на роздорожахъ, то при корчмахъ, хватаючи утѣкающихъ инсургентôвъ и ôтставляючи до уряду.

Коло домашôвской корчмы стояла тоже бôльша толпа народа, пила и кричала.

Дорогою надъѣхалъ крытый кабріолетъ; селяне задержали конѣ, обступили кочъ, и кричали, а топоры уже заблысли въ воздусѣ.

»Кто тамъ« почулись межи толпою голосы.

Въ кабріолетѣ сидѣла Емилія, розплываючись въ слезахъ и якбы безъ чувства.

»Оставьте« просилъ повозчикъ »панѣ ѣдетъ за границю и вже не вернетъ.«

»Смерть ей!« кричали голосы.

Но сновь выступилъ Семякъ, сробилъ мѣстце вôльне для ôтъѣзду и кабріолетъ поѣхалъ.

XI.

Умы успокоились по селахъ и неудачная революція кôнчилась. Подôбна судьба якъ въ Домашовѣ припала и инымъ дворамъ и родинамъ шляхоцкимъ въ цѣлôмъ краю, а плянъ Мильбахера, львôвского старосты, перешкодилъ совершенному выбухови революціи. По дворахъ стало пусто, родины шляхоцкіи то погибли, то сидѣли увязненныи а и двôръ неодинъ замѣнился въ руину. —

Проминули бурливыи часы. Пройшла темна нôчь, а настала ясна поранна зоря...

И на чолѣ гончаря Семяка не видно вже той хмары чорной а огонь въ очахъ, що перше на вспоминку о минувшости такъ палалъ, замѣнился теперь въ любовный жаръ для любящойся пары.

Мирославъ выходитъ сновь вечеромъ, но не самъ а выходитъ съ своею Русалкою, Февронкою, що такъ очаровала его сердце. Они идутъ на кладбище, щобы положити вѣнецъ на гробѣ дорогого Платона и любящей Праксевіи, которыи умираючи поблагословили молоду пару, а за котрыми нарôдъ плакалъ ôтъ старця до дитины, бо »еще такого отця не зазнали и певно не зазнаютъ«.

Мирославъ и Февронка вертаютъ на загороду, що своею красою и чистотою усмѣхается и притягаетъ, а где на оборѣ гончарь заходится коло новыхъ плугôвъ и бороны. Зъ его лиця трискаетъ счастье и все показуетъ на добробытъ.

Люде не оминаютъ вже теперь Семяка, но горнутся до него, почитаютъ и любятъ его. То братъ ихъ изъ той самой соломяной стрѣхи.

Лишь по временамъ ôнъ попадалъ въ тугу и задуму и ходилъ потупивши голову.

»Отъ ручницю возьмѣтъ а пôйдемъ въ лѣсъ,

чого такъ голову похилили?« сказалъ Мирославъ замѣтивши, що гончарь ôтъ долшого времени сумуетъ.

»Та вже!« отвѣчалъ гончарь »хоть що роби, а Ирины менѣ не забыти до смерти... моей Ирины... Часъ и вамъ знати за мои молодыи лѣта... Боже! що чоловѣкъ не перетерпѣлъ а и теперь, якъ згадаю, що нема моей Ирины, то ажь слезы тиснутся.«

Мирославъ хваталъ кождое слово а Февронка присунулась блисше къ нему и всмотривалась въ своего батька.

»Я малъ дватсятъ лѣтъ« розсказовалъ Семякъ »коли моя старенька мати почала заходитись за мою женячку. Сюды-туды въ сваты, та не ишло: я полюбилъ горячо хорошу и добру дѣвчину Ирину и мати тѣшилась, що въ мясницы будетъ уже невѣстка... Но не дôждала... Умерла въ Рождественскôмъ постѣ а я, послюбивши Ирину, привелъ ю на мое ôтцевске газдôвство. Богъ поблагословилъ насъ дитиною, котру мы якъ найбôльше сокровище стерегли, и любили... То ты была, Февронко... малою ты еще была и не памятаешь матери... Якою была твоя мати, не буду тобѣ описовати, бо сердце крается а скажу лише, що не знайдешь

въ свѣтѣ бôльшой доброты и вѣрности. Уже такою была Ирина...«

»Мы жили спокôйно и въ счастью. Тымчасомъ — нанесло тогды въ село дѣдича, остатного изъ родины, Ромуальда Краевского, котрый вернулъ изъ за границы до батькôвского двора и сталъ паномъ въ нашôмъ селѣ.«

»Якій былъ отецъ его, — такій и сынъ удался подôбный. Разъ пôйшла моя Ирина ôтробити паньщину на двôрскіи ланы... пшеницю жали на кутахъ... Та и панъ, молодый Краевскій, прійшолъ якъ звыкло, по- дивитись и покатовати, якъ то они робили. Ирина впала ему въ око, подобалась ему, ôнъ почалъ ей плести негôдныи небылицы въ ухо... и жадалъ любви ôтъ ней... Ирина отвѣтила му рукою по лици и вернула до нашой хаты.«

»Сидимъ въ двое, ажь приходятъ изъ двора гайдуки съ економомъ и каннутъ панскій приказъ: Значилось: Ирина въ двôръ — тай годѣ! Взяли на силу мою Ирину — панъ приказалъ. Минула нôчь, Ирина не вертала; я прожилъ тяжкіи годины. » »Отъ що будетъ, то будетъ, а не сдержу такъ, пôйду до двора« « подумалъ я взялъ кресаню и пустился до пана.«

»Приходжу до него: »А що псе?« закричалъ

ôнъ. » »Я прошу, помилуйте, пустѣтъ Ирину,« « такъ я говорилъ а дѣдичъ засвисталъ пѣсню, заложилъ руки въ задъ и пускалъ дымъ изъ файки. — »А возьми собѣ ю!« каже до мене »иди собѣ возьми, она тамъ въ трупарни.«

»Боже, кровь менѣ застила: я не зналъ, где стою и що робити, чи панъ шутитъ? Моя Ирина въ трупарни! Но розбишака не шутилъ, а правду говорилъ. Уже не памятаю, якъ я заволѣкся до трупарнѣ: Боже! Ирина мертва лежала, мертва моя Ирина, убили ю тираны, убили каты за то, що вѣрною менѣ была... И ôтъ тогды убили мою долю и счастье...«

Семякъ пересталъ и тяжко востхнулъ, а чоло покрылось темною хмарою.

»Якъ неживый вернулъ я до дому, где новиталъ мене плачъ малой нашой дитины — вже не вернула до ней мати... Я сталъ и смотрю на дитину... но не долго такъ было. Въ хату сновь войшолъ економъ съ двораками и кажетъ мнѣ: — »Хата не твоя, а пана; а ты идешь по приказу пана на всегда до бровару въ роботу.« Тіи слова збудили мене... морозъ пôйшолъ менѣ по тѣлѣ. Еще мертва Ирина... дитина плаче... а вже бушуютъ хату и берутъ мене. И где

берутъ! Вы знаете, що значитъ, на всегда въ броваръ: замучатъ тя и згинешь марно.«

»Уже тамъ не пôйду то дарма! — погадалъ я — и, коли панскіи посѣпаки забрались до коморы, я взялъ дитину малу на руки, обвилъ сѣракомъ, потôмъ вытягнулъ изъ скрини мошонку съ сорокôвцями и пôйшолъ, утѣкъ въ свѣтъ. Попрощалъ свою хату и село, абы не вернути на вѣки.«

»Однакъ не на всегда осталъ я за селомъ, якъ видите, вернулъ я, тай дякую Богу за ту ласку.«

»Я ишолъ съ дитиною на слѣпо... где очи заведутъ... въ мошонцѣ была добра сума грошей, тому и не боялся я за житье. Перейшолъ я лѣсы, границю угорску, минулися и забескидскіи горы и я прійшолъ въ малую осадьбу, що розложилось на широкôй мадярской пусстѣ.«

»Иду, а коло гарного дому стоитъ толпа людей. »То що?« пытаю людей. Они мене, а я ихъ не розумѣю. Але розсказалъ мнѣ мужикъ, що гандлювалъ волами родомъ нашъ изъ Ужока: значилось панъ того дому одинокъ въ свѣтъ идетъ а дôмъ продаетъ и цѣну опустилъ. »Отъ« подумалъ я »чи не купитибъ той дôмъ?« Якъ подумалъ, такъ и сдѣлалъ.«

»Сорокôвцей было тамъ троха; все склалось. Панъ взялъ гроши и я сталъ властителемъ дому. И такъ мешкалъ я въ комнатахъ съ тапетами и драперіями. Поволи зачалъ я сходитися, сживатися съ людьми и поволи покинулъ сѣракъ, а натягнулъ панску одежу... Уже такъ склалось... Троха газдовалось, але я взялся за гончарство, которого у сосѣды въ новôмъ моимъ селѣ научился... Ба, и дальше еще пôйшло. Я зачалъ зноситися то съ купцями, то съ ремѣсниками, робилъ съ ними добрыи справы и майно все приростало, все побôльшалось. Тогды я вже на свою руку провадилъ дѣла купеческіи и ремѣсничіи и ѣздилъ по многихъ великихъ мѣстахъ... Ишло все... но що? Все то не было счастьемъ для мене.«

»Якъ прійшолъ я до дому и поглянулъ на пôдростающу Февронку, то слезы ставали мнѣ въ очахъ... не было моей Ирины... не было — еще одного.«

»Отчины, рôдного села не было.«

»За якійсь часъ почулъ я щось въ собѣ, що не давало менѣ супокою, якусь тугу, тоску, нигде было мѣстця собѣ знайти.«

»То была туга за рôднымъ селомъ и хатою.«

»А якъ пригадалъ я собѣ дѣдича, то кровь

стигла и чорныи хвилѣ приходили менѣ... Грошей было, але нигде супокою знайти. Я пôдъупалъ и на здоровю и увидѣлъ, що такъ не можу дальше зôстати.«

»Я продалъ дôмъ и на ново пустился въ свѣтъ, где очи понесутъ... знай, супокою глядати. А Февронка пôдросла вже и образовалась разомъ съ своими подругами и хоть духомъ и образованностїю перевысшила всѣхъ своихъ товаришокъ, то все таки не до богацтва я ю призвычаялъ, но до працѣ и любови родного слова.«

»Заѣхалъ я съ нею теперь въ горы, котрыи пригадовали менѣ мôй родный край... и тутъ занялъ я домикъ у якогось лѣкаря и замешкалъ. Тутъ залишилъ я дѣла купеческіи а научившись въ свѣтѣ гдещо изъ письма, радо слухалъ я лѣкаря, що говорилъ мнѣ о зѣляхъ и много я и Февронка зъ того у него научилися... Длятогото и прозвали мене въ селѣ чарôвникомъ, знахоромъ, бо съ зѣлями я заходился.«

»Отъ такъ тамъ жилось и сновь не долго... не было и тутъ менѣ супокою... тужилось за рôднымъ селомъ и за нивою. Я дальше поволѣкся до Унгвару: прожилъ тамъ тяжкіи часы и таки разъ гôрько сплакалъ и подумалъ: »Пôйду, верну въ рôдне село въ Домашôвъ: най

и убьетъ мене тамъ панъ, нехай и умру а жити такъ не буду — не хочу.«

»Такъ я и сробилъ: перейшолъ границю, лѣсы и просто упалъ на рôдну землю, тай цѣловалъ. Вже то нигде счастя нема, хиба у себе, дома.«

»Я змѣнилъ имя и яко вандрующій зарôбникъ замешкалъ въ пустыхъ компатахъ монастыря. Люде мене оминали, бо мали за вѣдьмака, чи знахора... Менѣ ажь въ сердци палилось, що не можу имъ показатись, кто я, що я ихъ братъ Семякъ. Такъ мнѣ тяжко было, хиба Богъ то зналъ. Але Краевскій жилъ и дальше мучилъ своихъ пôдданныхъ разомъ съ своею сестрою Емиліею, що вже якъ и Февронка выросла на полну дѣвицю.«

»Не мôгъ я еще сказати »що есмъ счастливъ, вже можу умирати«, нѣтъ, ще я не мôгъ. Правда, досыть и то было, що я жилъ въ своихъ горахъ, въ своихъ лѣсахъ, въ котрыхъ — и тôлько въ нихъ — житье. Але еще чогось недоставало, а то — власной нивы. Тяжко чоловѣку не мати власного плуга та нивы, уже то такъ; шастай ся где по ремѣсникахъ, по купцяхъ-то все на ничо: лише на нивѣ добре умирати.«

»Я сталъ провадити гончарство, хоть гроши

были. Ажь разъ заговорился я съ возьнымъ изъ мѣста и той сказалъ менѣ за повстанцевъ, за пляны ихъ и за головного начальника ихъ въ нашой доменѣ, Краевского.«

»Въ менѣ закипѣла кровь и нервы задрожали. »Прійшолъ часъ« подумалъ я »конечно, прійшолъ часъ!«

»Я былъ въ свѣтѣ, тай гдещо приучился изъ свѣтового. И такъ загадалъ я перервати его пляны. Прозвался я Лясковскимъ, емигрантомъ, завелъ дѣло съ Краевскимъ и шляхтою, а все то на то, абы Краевского ôтдати въ руки справедливости и ôтплатити ему за мою Ирину... Я уложился съ нимъ, що попроваджу громаду... и попровадилъ... но, и ему сталось, що принадлежало, но еще далеко не все.«

»Тамъ доперва въ лѣсѣ скинулъ я тіи кайданы, що мучили мою душу и сказалъ ему, що мщусь за мою Ирину... за мою Ирину...«

»О то Емирку, сыну, была та ловля на медведя, до котрой я тебе завзывалъ.«

»Теперь жію на родной землѣ, на власнôй нивѣ... легко будетъ въ Карпатахъ и умирати.«

* * *

Въ однôмъ изъ парижскихъ журналôвъ читала публика короткій епилогъ: »Емилія Краевска

изъ Галичины, сестра нефортунного инсургента Ромуальда Краевского, дама извѣстна въ парижскихъ кружкахъ своею ексцентричностею, вернула въ Парижъ и приняла вчера имя Розаліи яко монахиня Кармелитанка.«

Странный гробовый духъ.

Новеллета.

По Бескидѣ шумѣлъ и задувалъ строгій Хорсъ, вѣтренный идолъ, мѣшался съ таинственнымъ ехомъ лѣсного свисту и завивалъ снѣгомъ, що якъ серебрянныи платочки въ пôдземныхъ палатахъ розсыпанный, покрывалъ скалистыи карпатскіи горы и смерековыи лѣсы. Покрылся зеленый карпатскій свѣтъ бѣлымъ сарафаномъ, не видно и полонинъ далекихъ, сникаютъ своею бѣлостію въ нôчнôй мрацѣ.

Полночь была. На горахъ и въ дебрахъ шумѣло, а мы — у старого продекана Софрона въ плебаніи, що еще ôтъ Іосефинскихъ часôвъ тутъ удержалась, сидѣли беззаботно при теплôмъ коминку за збаномъ Шамародно — токайского и переплѣтали его по ряду то Дукельскимъ то Марковацкимъ то въ кôнци сербскимъ Ромпашею.

Сосѣды по бескидскому обычаю зъѣхали до продекана переломити Сильвестрову Нôчь, съ Старымъ Годомъ по прадѣднему розпращатись а Новый повитати полными стаканами. Такій вже по Карпатахъ обычай. Лѣто чи зима, Казибродъ чи Лютый, а до сосѣды въ кожду годину заѣзжай хотьбы Недѣля за Суботою: якъ не дѣло, то на слово, а нѣтъ, то вже чи не для того, абы стрѣпнути зъ себе мизантропію, котра якъ заклятая путешествующа душечка переходитъ пôдъ карпатскимъ воздухомъ изъ увязненной душы чоловѣка въ сухіи дебри, скалы и зрубы и гинетъ въ дубовыхъ темныхъ лѣсахъ. Но диво, — часокъ минаетъ якъ минута, Марковацке пѣнится и сникаетъ по правиламъ, то и не оглянешся, якъ прійдется тобѣ, уже пôздною ночею черезъ бескидскіи горганы*) таскатися до своей родимой ватры, що гдесь тамъ бѣлѣетъ середъ чорного села, якъ уточка яка бѣлокрылая середъ чорного озера.

А щожь доперва Старый Годъ! Той маетъ свои установы, то просто былобы щось нечуванного, сидѣти въ дома за печею якъ Анахорета або Трапписта и не подѣлитись бодай по жен-

---

*) Горганъ = верхъ, холмъ.

тлеменски вѣстію, що за горами на Уграхъ ôтбылось осенью винобраніе, якого еще якъ свѣтъ свѣтомъ, никто не видалъ, и що по тôй причинѣ метеоры во видѣ винныхъ анталкôвъ посыпались изъ за границы угорской мало чи не ряснымъ дощикомъ.

Мы сидѣли за збаномъ, лишь при тôмъ замѣтили мы, що старый сивый продеканъ частѣйше вставалъ и заглядывалъ въ ôкно, якбы хотѣлъ продеретись черезъ нôчну тьму до полонинъ, або дослухатись якой мелодіи въ продолжительныхъ свистахъ вѣтру. Наша любопытнôсть перемогла, мы спросили, въ чемъ дѣло, а въ отвѣтъ видѣли лишь перелѣтающій усмѣхъ на его черствôмъ, червонôмъ лици, окрашеннôмъ вже сивымъ волосьемъ, усмѣхъ якбы иронична стрѣлу перелѣтающу помежи мысли, заблуканныи въ минувшости. Мы пôзнали, що за тою улыбкою крыется якій то розсказъ и въ нашôмъ домыслѣ не ошибались.

Сивый продеканъ допилъ Шамародное, погладилъ чело высокое и началъ свôй розсказъ. (На лици его всегда лѣтала та иронична стрѣла якъ незначна блыскавка середъ погодного вечера.)

»Заглядываю въ ôкно!« началъ продеканъ »Ба! шумитъ же тамъ на урядъ! замѣтаетъ

добре снѣгомъ: но все то, якъ вижу, не такъ, якъ было тогды, въ тую памятну нôчь: то еще метѣльниця не така была. Теперь еще, якъ добрыи конята, то и до Веречке черезъ границю пересадишь. Иначе было тогды...

»То было въ Рождественскіи Свята. Знаете, у насъ якій обычай; до счастья дорога коротка; ледво вырвешь ся зъ мурôвъ академичныхъ, такъ и просто въ объятія — Гимена. А! Любилъ же ты дѣву, даму яку, то и не думай, лишь нагадай собѣ, якъ любо съ дружиною жити за горою, заѣзжай до твоей избранной карымъ конемъ, чупрыну черкесску загорни, гдеяку пѣснь за скрипливыи воротенька або за тихій Дунай изъ души утни и якъ бунчючный боярынъ братайся съ счастьемъ.

»Такъ было съ початку и сомною: въ свѣтѣ кипѣло по барикадахъ, по Бастиляхъ, въ Уграхъ гулялъ то Коссутъ то Гергей, — а мы товариши выйшовши изъ мурôвъ солодко почивали на первыхъ думкахъ о Гименѣ. Дѣвицу зналъ я: очи — чорныи якъ теренъ, калиною усточка, лице цвѣтомъ вишневымъ: тымъ часомъ, поки я змôгъ спрятати зъ себе книжный порохъ, у ней заскрипѣли воротенька скорше, зайшолъ якій то боярынъ чи не во фраку французскôмъ, она стала бояры-

нею чи не въ кринолинѣ французскій, а я — пригадалъ собѣ, що ю зналъ и убѣдился, що время надоспѣло, абымъ ей будьто не зналъ.

»А тутъ чекати не чекати; на вздогôнъ треба было гденибудь влюбитись. А была у мене и стать и чорна чупрына черкесска, бутна, и око бутне якъ у Наполеона, словомъ, дѣло повело бы ся гладко, лишь разъ два чахнути въ свѣтъ.

»Зналъ я тогды таки въ сусѣдствѣ двѣ дамы. Може и влюбился? Ага! Вже бы то было! Тогды любовь! Въ свѣтѣ по барикадахъ кровь ляли тогды. Значилось; або шаблею затинай, або спи. Казали люде просто: ‚Ожени ся, не журися, пôйдетъ ти рукою‘. Такъ и мои двѣ знакомыи: я думалъ: отъ съ тою то а нѣтъ то съ тою то оженюсь и ‚пôйдетъ мнѣ рукою‘.

»Одна зъ нихъ Славка въ Розвадовѣ, въ сусѣднôмъ таки селѣ. Нѣжна блондинка, стройна, статна, коафюру носила въ ‚десператку‘ чесанну, кринолину якъ диво красоты: на рукавахъ бюфки зъ жолтого джету, пôдъ шіею фишю кремове. А ступала она! А! вы не знаете, якъ за нашихъ временъ дамы ступали? То словно лебедь плыветъ не дама ступаетъ. Черевички не тіи, що теперь а сапожки зъ сатины: ножка въ сатиновыхъ мягкихъ сапожкахъ ступала по пар-

кетѣ смѣло, певно, и мягко, пышно а тихо: отъ то, що и тихо, казалось, нимфа яка идетъ, ледво землѣ дотыкаетъ. Такою была и Славка въ Розвадовѣ.

»Сказалбысь, она таки не земское существо: не то уже, що ступаетъ якъ лебедикъ, но то, що она — Боянова елевка, словно елевка нашого старинного пѣвця Бояна: струны такъ и звучатъ пôдъ ей рукою, думалбысь шесть соколôвъ розпустилъ вѣщій Боянъ. А за насъ, то не то що теперь. Карпаты дрожали пôдъ звуками пѣсни и шездары: еще помню: дѣва хороша возьметъ шездару, аккорды сыплются: смотришь, а то не аккорды но сердце дѣвы то смѣется то тужитъ, то любовью згаряетъ то гордостію владѣетъ. Бывали времена!

»Стало на тôмъ: ѣхати до Славки. А былъ у мене въ то время мôй другъ и давный товаришъ нотаръ Евсебій, именно такій же несвязанный еще шваліе, якъ и я. Рождественскій пôстъ вже минаетъ и мы погадали, що бездѣльно намъ дальше не сидѣти бы, но взятись до чогось положительного.

— Евсебій! — кажу разъ до товариша, — санки новыи: а еслибъ такъ полонину обозрѣти?

Подумай, въ зимѣ полонина, то щось фамозного, особенного!

— Ба! — отвѣтилъ Евсебій — еще и якъ!

— Не завадилобъ розпытати где и за народныи обычаи по селахъ.

— А вжежь: дѣло полезне.

— Плебаніи не оминати-бъ: Совѣстно былобъ не вступити.

— Но!

— А якбы такъ въ Розвадовѣ? — кажу.

— Очевидно.

— Геня! Славка! Га? що думаешь?

»Мôй товаришъ лишь моргнулъ усомъ. (Отъ то, що и было: думаю, мнѣ кобы той усъ: чупрына черкесска естъ, а уса балабонского недостаетъ.)

»Запрягъ Василь, нашъ повозчикъ, до саней чорного пегаза, коняку розбишаку и мы махнули за горами за дебрями долѣ глядати. Мы заключили, що полонина въ кôнци зимою не представляетъ ничь такъ фамозного, що обычаевъ сельскихъ добра плика записанна лежитъ де де по архивахъ а де по Жеготахъ и — заскочили просто въ Розвадôвъ. Значилось: хочешь ли знати, що якъ и куда, такъ впадай же ненадѣянно якъ бомба. На даму не смотри тогды,

коли весь свѣтъ на ню дивится, но тогды, коли она думаетъ, що никто теперь то не свернулъ на ню очей. Отъ думаете, въ ‚десператку‘ можна было зачесати такъ за хвильку, двѣ? Не такъ!

»Приходимъ: панна чи естъ? Не пытаемъ, лишь смотримъ. Минута, двѣ — нема! Мы розгостились. Приѣдь где у насъ, то свôй, всюда свôй: одна родина по Карпатахъ. Сказано: Свôй. И тутъ мы не долго ожидали. Слово за словомъ, показалось, давныи знакомыи а съ батьками товариши, ба, ба,... а отъ чи и не свояки далекіи! Якжебы нѣтъ? Рѣчь проста. Сродники и баста.

»А на доказъ того, отъ тамъ на стѣнѣ портретъ якого то сродника. А що? Подобія родинного може нема? Зазначено сейчасъ, що мôй профиль точь-въ точь тойже самъ, якъ у портретового сродника, а наветъ моглабъ зайти ошибка що до особы, еслибъ лишь мôй нôсъ былъ бôльше греческій а мои брови бôльше византійского стилю.

»Но то еще ничѣмъ: тутъ щото важнѣйшого ôткрывается: а именно усъ Евсебія пріиметъ непремѣнно за якійсь часъ туюже саму бравурнôсть и той самъ видъ, якъ усъ у портретового

сродника. Сваживши такъ епокальную находку я взялъ портретъ новоизобрѣтенного сродника и сховалъ его въ мôй портфейль. (Маю его и теперь при собѣ.)

»Словомъ, мы были якъ у себе. Но що? Славка не являлась. Намъ истолковали, що якіи то купцы надъѣхали и закуповуютъ у нихъ полотна Розвадôвскоґо выробу, що Славка отже тамъ занята, що она впрочемъ сейчасъ явится привитати такихъ гостей. Еге! (А она, бачите, сердечна, коафюру чесала: я казалъ, въ ‚десператку‘ не зачешешь такъ гольтеръ-польтеръ.)

»Парохъ Розвадовскій по тыхъ словахъ насъ оставилъ и пôйшолъ за дочкою. Мы остали самы въ комнатѣ. Оглянули ‚варяціи безъ темы на шездару‘, портретъ Меттерниха и прочое, коли въ комнату вступилъ нашъ повозчикъ Василь въ сѣраку зъ гôрскою пелериною — чиповомъ, въ лютовискихъ ходакахъ, въ синихъ зимовыхъ гайдаверахъ, высокій бескидскій великанъ съ долгимъ безладнымъ волосьемъ.

— А що Василю? — пытаемъ.

— Та ничо.

— Но а такъ? Коня чорного розпрягъ?

— Розпрягъ.

— И напоилъ?

— Напоилъ.

— А самъ? Бакунъ естъ?

— Естъ.

— То гараздъ.

— Та оно бы гараздъ... лемъ...

»Тутъ Василь скрутился, рукою за голову завинулъ, чиповъ ôткинулъ, а на его фавновôмъ лици, широкôмъ съ пристриженными усами, съ огорѣлыми щеками крутилось якое-то слово.

— Дѣло то и дѣло — промовилъ ôнъ наконецъ и приложилъ руку на полъ устъ, а докончилъ шепотомъ, — Намъ бы чорного коня назадъ запрягати, тай забиратись зъ Розвадова.

— Но? — пытали мы, дивуючись такому докладу.

— Долѣ не объѣдешь — говорилъ Василь — але и не присилуешь долѣ. Оно вже такъ. Тутъ намъ не по дѣлу: я то знаю; въ сваты неразъ я возилъ. А тутъ въ Розвадовѣ ничо зъ того. А чому? Нашъ чорный коняка не кушаетъ паши, ничо не кушаетъ.

— Ничо тамъ — кажемъ — може млаки дали або травы зъ плаю, а нашъ на то не наученъ.

— Хрань Господи! команицы наскидали такой якъ Дунай... А чорного якбы пôдтялъ...

не ѣстъ и не ѣстъ. А оно такъ естъ: где мôй чорный паши не киваетъ, тамъ изъ сватаня ничо. Лише нашійники на коня закладай и гайда дальше. Такъ было, якъ ся вашого стрыка везло въ сваты. Добрый были вашъ стрыко... Бывало кажутъ до мене: Ану Василю, утни но пѣсню »надъ рѣчкою, надъ быстрою, любилъ ся я съ дѣвчиною«, а я ледво що скôнчилъ... »зъ береженка, пригортаю до серденка« а сорокôвцѣ грошики дзень — дзень сыплются якъ снѣжокъ...

»Тутъ мы почули кроки пароха, успокоили Василя, що вертати не годится и за хвилю мы витали Славку. Десператка? Естъ. Съ синею кокардою: сукня шелеститъ, а ходу и не чути: сатиновыи сапожки. Говоритъ мило, думаешь ласочка яка. Знаетъ варяціи въ третôй позиціи на шездарѣ, говоритъ наветъ о гарпеджіахъ и фляжеолетахъ, ба, ба... мы запустились съ парохомъ о дѣлахъ дальшого свѣта, а она хвилями перекинетъ ти, що Коссутъ вже чи не въ Турціи а Яхимовичъ гдето въ Кромерижу.

— Та то щось феноменального — кажу до мого товариша Евсебія.

»А ôнъ лишь усомъ моргнулъ. Въ тôмъ и моя бѣда. Кто знаетъ чи усомъ и не побѣдилъ. Бо уважаю дальше, она — говоритъ що, то свер-

нена до Евсебія, пытаетъ що, то Евсебія а до мене ани чичиркъ, лишь якбы за паньщину гдеколи окомъ кинетъ.

»Думалбы кто, Евсебій дѣйстно побѣдилъ. Нѣтъ. Но она то умышленно дѣлала: дамскій маневръ. Такій мало що не пôдрыбокъ еще, мало чи не въ короткôй сукни еще, а вже такій маневръ! — Дамы всѣ такъ: хочутъ тымъ завладѣти, то съ тамтымъ инымъ кокетъ. Мужчина, значится, тогда и влюбляется въ даму, коли видитъ, що она гдеинде любовно принадлежитъ.

»А пташечка на мнѣ ошиблася. Що вже, а на мнѣ ошиблася. Думаю собѣ: дамѣ пôдъ закиненну удку пôдойти? Дати словитись въ сѣть, якъ щупакъ? Ктобы! Василь добре казалъ: ничо зъ того не будетъ: чорный нашъ не даромъ не берется за пашу. Не ма тутъ дѣла.

— Добре естъ тутъ намъ быти... но...

— О! о! А то що?

— Время ôтъѣзжати.

— А! щожь тамъ за время!

»А оно и въ самомъ дѣлѣ якось не по европейски было, такъ сейчасъ ôтъѣзжати, а вижу, и товаришъ мôй щось не дуже спѣшится. Пропалъ же козакъ. Евсебій певно въ ней влюбился.

Мы засѣли еще до макового книша, перевергли шоколядовыи тѣста, выпили по стаканѣ, чого слѣдуетъ и такъ забрали ся поволи до ôтъѣзда.

»Живо перегналъ нашъ чорный черезъ верхи и дебри скалистой дороги а чоловѣку якто неизъяснимо стало на души... И коня-бъ вороного поспытати, чомъ козакъ его такъ несчастливый... такъ собѣ думаю, а може и полегчалобъ... Но щожь! Не стаетъ чорный кôнь пытати ся явору, чого похилился надъ водою, ани чого панъ его зажурился... не пытаетъ коняка, лишь женетъ черезъ горы якбы съ Мазепою або Дон-Кишотомъ.

* * *

»Минулъ день и два. Уже тіи дамы! Поперетинати ихъ планы и планочки, показати имъ, що пôдъ дамску удку закиненну не пôдходится, то было первою моею гадкою. Адè! адè! моя Славка, мôй Аранжуецъ! Лишь троха черевикôвъ сатиновыхъ жаль и того сентиментального аккорду въ третôй позиціи.

»Но щожь: справы бы не засыпляти, грушокъ въ попелѣ не загрѣвати. Гименъ чекаетъ. Одинъ поглядъ въ минувшôсть — и я пригадалъ собѣ, що зналъ еще другу даму въ сосѣдствѣ по-

другôй сторонѣ ôтъ Розвадова — вдовичка, Наталія. Тажь то щось романтичного до крайности! хороша и молода! Я вже поволи затягалъ нѣсню за вдовичку, що то брала ленъ дрôбненкій по пôдъ гай зелененкій и думала, якбы то она мужа медомъ напавала и въ кармазины убирала.

»Я затеръ руки. Прійшолъ до Евсебія и сталъ за нимъ: ôнъ сидѣлъ на фотелю. Теперь я ничо не бачилъ, лишь его усъ. Ехъ же балабонскій! Колись що колись будетъ изъ того уса! А самъ же нотаръ бѣдняка Евсебій ôтъ часу, якъ мы вернули зъ Розвадова, ходитъ якъ Буй-Туръ, мыслями по облакахъ водитъ, шалѣетъ. Звѣстно — влюбленъ: счастливъ и честна же душа, лише що — щупакъ. Словленъ въ сѣть. А таки ôнъ може и счастливъ!

»Я ударилъ его по рамени. Думаете теперь моргнулъ усомъ? Где тамъ! Добилъ сердце у дѣвы, то и усъ вже становится непридатнымъ, въ отставку пôйшолъ якъ выслуживкій чорный муринъ.

— Поѣдемъ — кажу до него, — базаръ нынѣ въ Плазовѣ, народа масса будетъ: етнографія будетъ на порядку дневнôмъ.

»Снова рветъ нашъ чорный стопами снѣгъ,

Stanford University Libraries
3 6105 012 237 702

PC
34
P45

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

NOV 2 9 1998
DEC 1 1998
280 DEC 2 9 1998
JAN 3 0 1999
FEB 2 7 1999
MAR 1 7 1999
APR 2
APR

MAY 2 0 1999
MAY 2 5 1999
JUL 1 4 1999
JUN 2 9 1999
AUG 1 1 1999
SEP - 4 1999
SEP 2 2000